

П Р О З А

Борис ГРЕЧИН



Борис Гречин родился в Ярославле в 1981 г., учился в педагогическом университете, кандидат педагогических наук. Пишет прозу, причем довольно необычную на вид.

Написал он довольно много, не опубликовал пока практически ничего, если исключить тексты в литературных альманахах и на веб-сайтах. Возможно, эта нестыковка между способностями, трудолюбием — и сложностью выхода к читателю является результатом того, что Гречин не просто повествует о жизни, но и пытается активно наставлять и проповедовать — да попросту менять эту самую жизнь. Причем не по готовым рецептам социального благоустройства, а исходя из духовного пилотажа, из высоких представлений о человеческом предназначении в мире, из формул религиозного служения... При этом в своих попытках автор бывает и наивен, и глубокомыслен.

Вот и повесть «Бамбино» посвящена духовному прорыву. У читателя она способна вызвать оторопь. Почему? Во-первых, «так не бывает». Ярославль, угадываемый как место действия, здесь представлен в некоем парадоксальном сдвиге. Во-вторых, автор во всем решительно не прав (особенно с точки зрения религиозного фундаменталиста); волосы встают дыбом, когда видишь, с какой легкостью он покушается на традиционные аксиомы религиозных учений. Но в каком-то ином смысле в этой повести неожиданно раскрывается нам откровение высокой любви, бескорыстного братства, человеческой солидарности. Откровение, противоречиво, но и убедительно явленное в личности заглавного героя.

Читателю можно пожелать заинтересованного чтения, желания соглашаться с автором и спорить с ним. Может быть, и на страницах нашего журнала. Стоит добавить, что повесть в рукописи была отмечена 2-м местом на региональном литературном конкурсе им. В. П. Бурича в Костроме.

БАМБИНО

Повесть

умбрия спит
 умбрия спит под дождем все как было как прежде
 умбрия спит и те камни ты их носил в платье строителя
 умбрия спит и те камни

пуст наш ребенок наш дом и к двери нет ключей
 ты зачерпни и налей

глина кувшин
 глина кувшин гончара отпечатались пальцы на доме воды
 глина кувшин сколько боли на каждом витке
 глина кувшин сколько боли

камень он тверд как их сердце поверь
 холодно псу открой дверь

вот он твой зверь
 вот он твой зверь он в грязи и снегу ты отмой отогрей
 вот он твой зверь открывай околеет снаружи
 вот он твой зверь он сожрет твоё время голодный с твоей же руки

свет равнодушный и слепящий блеск
 мертвых духовно кто их пожалеет франческо?

Пауль Целан

Летом двухтысячного года мне позвонила девушка и, узнав, «вправду ли я пишу книжки», попросила о встрече. Из ее слов я понял, что она была ученицей некоего удивительного человека, собравшего при жизни узкий круг учеников, учеников в немецком смысле, Junger: духовных последователей. Она хотела, чтобы я написал его биографию. Примечательным было то, что умер этот человек, не дожив даже до своего двадцатилетия. Еще более примечательным было то, что девушка упорно называла его ласкательным именем — Бамбино («мальчик», «малыш» по-итальянски), а на вопрос, откуда это имя, сказала, как ни в чем не бывало: «А он раньше родился в Италии. Я знаю, что он был святым Франциском!»

Ученики пришли, как было условлено, в один хороший июньский день ко мне домой. Я принес Panasonic RX-CT870, поставил его на запись и исписал что-то очень много кассет. Когда закончились чистые, под нож безжалостно были пущены «Союз-20» и Наталья Штурм; ничуть об этом не жалею.

Валерия, Лола, Фазиль и Кристиан. Все они были моими ровесниками.

Было что-то удивительное и гармоничное в том, как они говорили: никогда не перебивая друг друга, а начиная, когда закончит товарищ. Но и меня ни в чем не пытались убедить, они просто рассказывали, и то, что они рассказывали, и сам спокойный тон наконец убедили меня.

Вначале я собирался опозитизировать образ и канву событий, разукрасить их в сентиментальном и полуфантастическом духе. Но мне пришло вдруг в голову, что настоящая жизнь Бамбино могла быть ярче и прекраснее всех моих скудоумных фантазий, и я стал склоняться к точной и подробной биографии.

Нужны были дополнительные источники. Некоторую сложность представило разговаривать двух молодых людей, имевших касательство к Бамбино: Евгения С. и Андрея М. Оба согласились что-то вспомнить о Бамбино, лишь когда я сумел убедить их, что эти болезненные для них воспоминания будут драгоценны. О Франциске они не хотели слышать ни звука.

Лишь с большим трудом я мог бы перечислить всех пытаных мной нещадно людей, вплоть до продавщиц, вахтеров и бармена «Шоколадницы» — мое упорство не останавливалось перед их недоумением и бранью и в конце концов побеждало — если они действительно хоть что-то способны были вспомнить (кто сейчас обращает внимание на блаженных?).

По рассказам Леры я смог восстановить картины детства Бамбино. Французский адрес Женевьев она случайно (конечно же, не случайно!) сохранила. Представившись *homme des lettres* и мало на что надеясь, я написал Женевьев письмо на плохом французском, продублировав его для верности на немецком, и через три месяца получил от нее (на хорошем французском и плохом немецком) пакет трогательных и мучительных воспоминаний. Деталь, которую я хочу упомянуть, может показаться сентиментальной пошлостью, и все же так было: в нескольких местах буквы потекли из-за слез.

Наконец, моим источником стали «Цветочки»¹ (в букинистической лавке, известной дивными редкостями, они стоили что-то больше ста рублей — не позор ли так наживаться на бедном Франциске?).

Эпilog я записал со слов Лолы — тем вечером она рассказала о том тихо и смущенно, и остальные слушали рассказ, боясь проронить хоть слово. У меня нет оснований подозревать эту девушку во лжи — и, кстати, три свидетельства этой встречи, три конверта и три письма, остались, написанные, несомненно, почерком Бамбино.

* * *

Жизнь Бамбино — жизнь удивительная по теперешним меркам, жизнь моего ровесника, человека, получившего в семнадцать лет то, что мы называем откровением, и за короткие пять месяцев (с сентября 1999 по январь 2000 года) сумевшего без рекламы собрать круг учеников и сплотить их, настоящих: искренних, преданных без остатка людей — и это без всякой фанатичности, без громких слов, без громов на головы неверных, одной лишь силой своего обаяния и уместности своего действия, одной любовью — и передать им новый взгляд на жизнь.

Жизнь Франциска Ассизского в новом рождении? Да! — пишу я и подписываюсь под этим. Не думаю, что Церковь снисходительно отнеслась бы к такому заявлению, которое,

¹ Цветочки святого Франциска Ассизского. М.: МУСАГЕТЬ, 1913; одно из современных изданий: Цветочки славного мессера святого Франциска и его братьев. СПб.: ММ [2000]. (Прим. ред.)

скажут мне, все же остается очень дерзким, поскольку оправдывает новое рождение христианского святого восточной концепцией перерождений. На это я отвечаю, что концепция перерождений является столь же восточной (тибетской, буддийской и индуистской), сколь и западной (каббалистической и пифагорейской), сколь и египетской (фараоны, подобно далай-ламам, рассматривались как одна перерождающаяся душа), то есть, вообще говоря, универсальной; что в самой Евангелии есть указания на нее, хрестоматийные места: именно то, где Христос говорит об Иоанне Крестителе: «И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти» (Матф. 11:14), где говорит о себе: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь» (Иоанн 8:58), и, наконец, где ученики спрашивают Спасителя, не наказан ли слепой за свои грехи (прошлой жизни), что «родился слепым» (Иоанн 9:2); что физики-академики РАН (Шипов, Акимов) определенно высказываются за существование практически «бессмертной», обладающей набором энергетических характеристик субстанции в человеке; что, наконец, истина одна и должна быть принята умом, не отуманенным слепотой догматического невежества.

Но, если и принять саму возможность перерождения, какими доказательствами располагаю я в пользу того, что речь действительно идет о новом рождении Франциска?

Первое из них — это сон Бамбино, поведенный Лере (и никому больше): стоит полагать, что сон, произведший настолько сильную перемену в человеке, не мог быть навеян простой фантазией, но должен был быть вещим сном. Детали этого сна удивительны, по крайней мере в том, что касается внешности Владыки. Тибетские верующие, участвующие в празднике Вайсакх (ср. Пасха, от евр. Песак), видят именно такой образ, но сведения об этом празднике настолько труднодоступны для всякого нетибетца (не будь нужным, и я бы, верно, не смог узнать о том), что я уверен: Бамбино никогда ничего не мог ни слышать, ни читать об этом.

Второе — это внезапная догадка Лолы, посетившая ее в тот момент, когда друзья видели Бамбино в последний раз: лицо Бамбино изумительно напомнило ей изображение Франциска Ассизского. Я разыскал то изображение со старинной гравюры в книге, названной Лолой («ЖЗЛ» в черном твердом переплете), и, сравнивая гравюру с фотографиями Бамбино, могу свидетельствовать о неувидимом, но ясно ощущаемом сходстве. (Полного сходства и не могло бы быть, поскольку при каждом новом рождении человек изменяется довольно значительно.)

Валерия не рассказывала Лоле о сне, и потому эти два свидетельства независимы друг от друга.

Третье, и самое главное, — это сама короткая жизнь Бамбино, которой не только многие эпизоды (например, эпизод с волком, описанный в «Цветочках» и повторившийся с собакой), но и сам ее дух, сам характер невольно заставляют поверить этому удивительному утверждению.

Спешу заметить, что сам Бамбино знал, что касается Франциска Ассизского, ровно только о его существовании, да и то, по словам Леры, из какой-то научно-фантастической повести, где было сказано лишь, что «св. Франциск тоже любил резвиться и ловить бабочек», а значит, не мог быть вдохновлен той жизнью и начать подражать ей.

И наконец, еще одно доказательство. Когда Лола проснулась на второй день знакомства с Бамбино, он читал за столом «Конармию» Исаака Бабеля, принесенную накануне ее дедом. Он оставил ее открытой на том месте, где читал, и больше не возвращался к ней: на рассказе о Христе и Деборе. Сам рассказ примечателен, но речь не о нем: я разыскал и «Конармию», и тот эпизод, и страничкой дальше место, где старый художник просит автора нарисовать его портрет (цитирую неточно, поскольку не имею текста под рукой):

«Можно в образе Франциска, с птицей... Это был совсем простой святой... Женщины любят Франциска, хотя не все женщины, пан...» Совпадение? Может быть. Но я вообще склонен думать, что ничто в мире не является случайным.

* * *

Каковы причины того, что произошло это удивительное рождение; зачем оно было необходимо, и почему случилось оно именно в России, в Ярославле?

Не приводя известных иным богословских доказательств, не восхваляя патриотически «мою великую родину», я просто укажу на закон справедливости, верный как для стран, так и для людей. В России нищета, неурядица и суматоха продолжаются с короткими перерывами со времен татаро-монгольского ига. Именно эта телесная нищета по закону равновесия и обеспечила, вероятно, редкостную чистоту и высоту русской художественной культуры. В этой стране, кроме того, возможно все, в чем весь мир и мы сами уже успели убедиться. Именно потому тот мировой духовный прорыв, который после индустриальной сытости так необходим и так многими ожидается, мог бы взять свое начало именно в России; некоторые обнадеживающие признаки позволяют надеяться на то, что этот прорыв все-таки может совершиться. «Праведники теперь выстраиваются в очередь на небесах, чтобы родиться в России», — сказал мне один современный духовидец, и в эти слова я верю.

Характер Ярославля, буйный, веселый, проворный, торгово-сметливый, независимый, может напомнить характер Ассизи. Солнце на этой широте не такое яркое, как в Италии, но в некотором смысле Ярославль — тоже солнечный город: ЯроСлавль, слава Яру, весеннему солнышку. Наконец, 1010, «официальный» год основания, указывает на одиннадцатый зодиакальный знак, на независимого и творящего революции Водолея, да и главная улица в городе — улица Свободы. Водолей традиционно считается астрологическим знаком нашей страны, веселого русского хаоса и ее мировой духовной задачи. Бамбино также был Водолеем.

* * *

Упреждая тех, кто захочет упрекнуть Бамбино в невероятном высокомерии, я скажу так. Наш век разучился верить в пророков; мы сделали суровую до песка на зубах жизнь Спасителя детской сказкой. Еще мы обнесли его имя забором и, протрубив на всех перекрестках о его недосыгаемой божественности, забыли о его человечности, а он мыл рыбакам ноги. Индия лучше нас помнит, что богами становятся, и это — жестокое становление. Нет, Бамбино не был, конечно же, равен Спасителю! — он первый рассердился бы на вас за такую мысль. Но и он был сыном своей Великой и Нежной Матери, которой одной он приписал бы все волнение, что может вызвать эта книга.

Предыстория

Глава I. Начало

Поскольку мои сведения о детстве Бамбино отрывочны и скудны, то и эта глава обещает быть очень короткой.

1

Бамбино родился в 1981 году, через 800 лет после прошлого рождения, под знаком Водолея, ангелическим знаком, знаком гениев и также знаком России. В начале февраля, между Венерой и Меркурием, то есть между первой и второй декадой — нежную мечтательность сообщает первая и лукавый очаровательный ум — вторая. И, наконец, если быть точным — 4 февраля, в день Раммана: сильнейший и едва ли не лучший день зороастрийского календаря, наиболее благоприятный для женитьбы; без четверти полночь, как сообщила Лера.

Я не удержался от того, чтобы, за неимением многих других сведений, построить на это время карту рождения и пересказать ее вам, тем более что данные ее оказались необычайно показательны. Гороскоп, построенный на это время, дает Солнце и Луну, дух и душу, соединенными в середине, 15 градусах, знака Водолея: свободы и озарения. Середина Водолея (=человека, как и орла-скорпиона, льва и тельца, четырех сущностей Откровения Иоанна) считается точкой аватар, богоизбранных людей.

Восходил в это время знак милостивых и приятных в обхождении Весов (определяющий во многом внешность и характер), а заходил знак неистового Овна (определяющий образ любимой). Дно неба (дом и страна) и хвост дракона (накопленное душевное богатство) располагались также в Водолее, а середина неба (жизненные достижения) и голова дракона (задача жизни) — во Льве, могучем, царском знаке. Венера и Марс, любовь и способ действовать, лежали в этот день равным образом в Водолее, а Меркурий, сила разума, — в Рыбах: знаке мудрости и христианства.

Конstellация звезд в час рождения, как говорили раньше, была благоприятной: гороскоп изобилует тригонами и другими добрыми аспектами, на асценденте, точке восхода, лежит Колесо фортуны. Есть только несколько дурных знаков: Венера за Солнцем (что может, как и любая планета за Солнцем, указывать на травматизм), и квадратуры от нее к Лилит в Скорпионе (неприятной точке лунной орбиты в знаке смерти и сексуальных влечений), к Прозерпине — планете преобразования на границе Скорпиона и Весов и, наконец, к ретроградному Плутону: общественной планете, скорпионьей планете, лежащей в Весах, опять-таки знаке любимой. Юнона, астероид богини брачного союза, находится в Скорпионе, всего в двух градусах от Лилит.

Кто-то не признает недавно открытых планет, но между тем Хирон, показатель Весов и седьмого дома, дома брака, также имеет в этой карте плохой аспект: квадратуру к Солнцу — Луне, и сам находится в знаке дородного Тельца, в седьмом доме и в непосредственной близости к началу восьмого: дома смерти. Все эти знаки оправдаются в дальнейшем.

Бамбино получил при этом рождении имя Валеры Арсеньева.

2

Мама, хорошенькая мещаночка веселого нрава, закончила некогда иняз по отделению французского и теперь учительствовала кое-как, не унывая много. Отец был шофером. Они не очень ладили друг с другом, все же она любила его.

В кабине грузовика Валера сидел чуть не с пеленок, он знал наизусть все марки советских и союзных грузовиков и в семь лет ломал себе голову над четырехтактным двигателем. Все эти шестеренки, шкивы, зубчатые передачи и прочее давали пищу его фантазии, а та не знала удержу.

И читать Валера любил для того, чтобы скользить мыслями поверх книги, он порой дня два блуждал в лесу, выросшем из зернышка, который бросила единственная строчка. Эпохи бушевали в этой маленькой головке, и собственное присутствие и разработанный сюжет были здесь обязательны. Но даже читать необязательно было для этого — любая картинка, каждый образ везде вокруг бросали в него такое зернышко.

В школе он выбрал французский, и мама научила его лучше школьных клуш, и он уже классу к восьмому говорил совсем неплохо по-французски (как в прошлый раз) и любил листать французскую книжку (впрочем, их и было дома всего две: «Маленький принц» и «Дети капитана Гранта» — за каникулы он прочитал обе и перечитывал не раз). В остальном же он не показывал особых успехов, скорее от неусидчивости и излишне тонкой душевной организации, чем от недостатка дарования. Как ни странно, не давались ему не точные науки, а литература: необходимость разводить мораль на пустом месте и сочинять вымученные сочинения по вымученному плану. Он горько плакал над каждой четверкой, да потом и махнул на них рукой.

3

В детстве он вообще был очень склонен к слезам, пока домашние не вбили ему в голову накрепко, что «парень не должен быть нюней».

Чутких детей в школе (русской особенно) обычно держат за худосочных хлюпиков и не дают им спокойного житья, но с Валерой это счастливо обошлось: что-то такое светлое исходило от него, что, хоть и зная за плаксу, его как-то трепетно, оберегаемо уважали, и каждый был рад отогреться у этого маленького светильничка, и были и хорошие друзья, хоть в последних классах никогда совершенно близкие.

Девичье присутствие Валера почувствовал очень рано — без чувственности, его просто влекли эти милые и нежные создания, много более близкие по духу, чем мальчишки. Он испытывал удивительную радость при пустяшной весело-беспечной болтовне с ними, в которой уже сквозит детская влюбленность. Девушки узнавали себя в нем совершенно, без всякой натянутой мальчишеской хамоватости он говорил с ними, и вновь их ворожил этот тихий огонек, и вновь и вновь непринужденности общения мешала его чрезмерная влюбчивость.

Половое созревание настало для него уже в одиннадцать лет, со всей мукой переходного возраста. Сексуальные фантазии прятались днем и не давали спать ночью, мысль о возможной близости изводила бедное тело и несчастное сознание. К шестнадцати годам мысль о близости стала совершенной спокойной.

4

Кроме того, что читал запоем и слушал взахлеб любую музыку, пересмотрел кучу фильмов, Валера так и не выработал себе четкого увлечения. Ах да, еще он любил ночью путешествовать по диапазонам радио — удивительный, огромный мир! *Это* было его образованием. Кстати же, он сменил в детстве с полдюжины кружков, и всегда самые разные люди были вокруг, и он с каждым говорил, и именно это общение дало ему, сдается мне, много больше, чем все кружки вместе взятые.

К началу юношества Валера имел бездну всего в своей голове, кроме порядочной четкости мысли. Вновь он говорил на родном и французском, а писать вновь так и не научился по всем правилам — его письма этого времени выдают неведение пунктуации.

Внешность его описывают так: рост чуть выше среднего, мягкие, ласковые каштановые волосы (он отвоевал себе стрижку до плеч), лицо чистое, юное, удлинённым треугольником книзу, как у совершенного Водолея, не столь, пожалуй, красивое, как породисто вырезанное: скулы выдающиеся, чуть монголоидные. И главное, лицо светилось (след восходящих Весов?) редкой приветливостью, и особенно глаза, с глубоким ласкающим выражением. Голос, как говорят, почти не претерпел ломки и остался очень мягким, певучим, как альт на низких тонах, обезоруживающим, особенно его французский было приятно, даже упоительно слушать.

Таким застал Бамбино семнадцатый год жизни.

Глава II. Женевьев

1

Поскольку автобаза находилась в одном конце города, дом — в другом, а погрузочная база — вообще за городом у черта на куличках, а подниматься порою случалось ни свет ни заря, разумней было уже вечером отвести машину к подъезду.

Отец частенько напивался до «легкого поддатия»: он предвидел такие моменты и говорил Валере заранее. Тот шел к нему после школы — благо та рукой подать — его пропускали через проходную, с хитринкою улыбаясь, как заговорщику. Садился в нищей комнатке и читал что-то из сваленных в кучу брошюрки общества «Знание»: «Туринская плащаница: чудо или научная загадка?», «Человек — венец природы?», «Есть ли жизнь после смерти?».

Вернувшиеся из рейса дальнобойщики поили его чаем, и он ничуть не смущался забористостью некоторых словечек. Или залезал в диспетчерскую будку и смотрел, как вахтер нажимает на красную и черную кнопку — открывать и закрывать воротину, высокую, оплетенную поверху колючей проволокой: она с грохотом отползала в сторону, давая путь грузовику. Ему иногда самому разрешали открывать ворота, а после он уже прямо шел в будку и сменял вахтера. Работа несложная, но какой восторг: одним нажатием приводить в движение килограммов 100 стали! И еще само положение — привратник (как апостол Петр)!

Наконец приходил отец и, воровато ухмыляясь, протягивал ему ключи — как же это было тогда весело! Дружить с машиной Валера Арсеньев умел, будьте покойны. Любой четырехтактный разобрать и собрать — всегда пожалуйста. Перед редкими гаишниками он надевал безразмерную кожанку и нахлобучивал шоферский картуз на глаза. А вообще в их районе не водилось этих зверей.

2

Это было в начале октября 98-го года, он шел по шоссе с работающими дворниками и включенными фарами (уже темнело, и дождь хлестал как из ведра), когда заметил отчаянно голосующую фигурку.

Он затормозил, потянул ручку правой двери — и в кабину впорхнула хрупкая, вымокшая, как собачонка, девушка, и вода с нее бежала ручьями, а она, стянув скрещенными руками, как-то молитвенно, ворот курточки, лепетала, задыхаясь: *mon dieu mon dieu quelle horreur* боже боже какой огромный страшный грязный автобус она еле села ее сдавили со всех сторон сломали зонтик это хуже чем возят невольников на очередной

остановке ее буквально вытолкнули боже мой ни живой души вокруг будто это не город а тайга (une taïga) и еще этот ужасный дождь и... — и, осекшись, уже ничего больше не говорила, только смотрела на него жалобно.

— Девушка, — сказал Валера, переводя дух и мобилизуя свои языковые умения, — девушка, а если бы я не понимал французского?

Так Валера познакомился с Женевьев.

Женевьев была из пригорода Лилля, в Россию она попала по обменной программе, а вообще же так: однажды она оказалась с родителями в кафе с названием «Русская сказка», там были узорчатые палехские занавески, она смотрела на них и ей захотелось в эту страну, где девушки водят хоробы по зеленой траве, пастушки играют на свирели под березками, залиvisto звенят бубенчики у тройки и по улицам ходят медведи. И еще ей хотелось выучить русский. Конечно же, русский она не выучила и не нашла здесь ни пастушков, ни медведей. Какая несчастная жуткая грязная Россия, боже мой — никогда она не могла взять в толк эту непонятную странную древнюю и грустную страну, и, слава богу, ей оставался здесь только месяц.

Все это она успела рассказать ему, и много больше. Тучи разошлись, Валера повернул угловое стекло — вечерняя свежесть проникла в кабину, в темноте зеленая приборная подсветка светилась ласково и по-дорожному ворожаще. Они въехали в жилой район, снова дождик накрапывал по листьям, Женевьев рассказывала об однажды слышанных «Садах под дождем» Дебюсси и подражала фортепьяно; глаза девушки блестели, ее живой голос звучал вовсе близко — чудесной сказкой осталась у Валеры в памяти эта поездка.

Открыв не без труда дверь, Женевьев взвизгнула перед высотой и ни за что не хотела спускаться (как она сюда забралась?); Валере пришлось выпрыгнуть и, обойдя кабину, осторожно спускать ее; нечаянно она, раскрасневшаяся, оказалась у него в объятиях.

— Mer-ci, mon chauff-feur, — пропела она, сняла его руки со своих плеч и быстро пошла к своему подъезду. Затем все же обернулась, весело подбежала к нему и чмокнула его в щеку — и уже после, не оглядываясь, побежала домой. Валера приложил пальцы к щеке: она горела.

3

На следующий день он ждал Женевьев в холле гимназии. Она говорила, что любит розы, но не ярко-красные, а нежных тонов, и вот он купил ей пять белых роз, каждую по цене его примерного месячного дохода, тогда как раз было превеселое время, когда доллар взлетел и цены напоминали послевоенные, нищая моя Россия!

Прозвенел звонок, и мимо пошли «гимназисты» — до чего заносчивые, самолюбиво-некрасивые, кичливые люди! Женевьев все не было. Он вдруг представил себе, что сейчас он простоит здесь еще час, потому что не знает ее расписания, и два, и три будет стоять, затем стемнеет, он пойдет плутать к остановке, втиснется, наконец, в троллейбус, придет домой в шесть вечера, его будут бранить за долгую отлучку и за то, что «не пообедал, а суп в холодильнике»... — и он ляжет в постель и будет тихо плакать в подушку.

Она вышла наконец и шла торопливо и невидяще — скорее, скорее прочь из этого неуютного места, — увидела его и слабо вскрикнула.

— Это... это для меня? — спросила она. Валера просто кивнул, и она просто подошла к нему и с усталым счастливым стоном положила ему на грудь свою светловолосую головку (у нее были очень прямые гладкие волосы; расчесывая их до пояса, она походила на русскую Олю).

Она рассказывала ему по дороге про свои дневные мучения и спрашивала: почему он плакал? У подъезда они вдруг взялись за руки, стояли, держались за руки и улыбались. Потом спохватились и договорились о встрече.

4

Женевьев пригласила его в кафе (для нас буржуйское удовольствие, но она так не считала) и говорила много, они много и счастливо смеялись, и глаза их блестели. Женевьев чуть разошлась от коктейля, а больше от свежей молодой жизненной опьяненности, он же — от близости красивой девушки из сказочной страны. И случилось в один момент так, что она, перегнувшись через столик, обвила его шею руками и поцеловала в губы, долго, упоенно. В этом нет бесстыдства, дорогой читатель, это просто другая культура, более свободная, это было сделано как шалость — но Валера застыл и не шевелился. Его... наверное, это его обожгло слишком горячо.

— Что ты застыл, китайский болванчик! — рассмеялась она. Валера не отвечал, и Женевьев заглянула в его глаза пристальней.

«Я никогда не забуду его глаз тогда, — писала она мне. — Будто я сломала лапку птенчику, и он глядел жалобно и бесприютно. Нет, не птенчику — будто бесконечно добрая умная грустная птица смотрела на меня так. Или будто это был маленький бедный святой в потертой дорожной накидке». Женевьев протянула снова руку и гладила его по щеке с удивительным участием — она сама не знала, что ее так глубоко тронуло, — а ему снова навернулись слезы на глаза, что-то последнее время он уже никуда не годился, и они спешно покинули кафе, молчаливые, жестоко смятенные. На выходе Женевьев обернулась и горячо попросила прощения, а Валера только смотрел и смотрел на нее, так что она в конце концов вынула свой платок и стала вытирать ему с виноватой улыбкой глаза, хотя в этом уже не было надобности, но этот ее жест вызвал слезы заново; «Laisse-moi, s'il te plait», — пробормотал он и отвернулся. До ее дома они шли молча.

При выходе из троллейбуса Женевьев поскользнулась и съехала бы чувствительно по ступенькам, если бы он не удержал ее вовремя и крепко.

— Не падай, — прошептал он, — пожалуйста, не падай.

У подъезда Женевьев обернулась, улыбаясь виновато.

— Распутная я девчонка, да?.. — спросила она. И, взяв его лицо между ладонями, стала целовать нежно и сильно. Валера положил ей руки на плечи, — она кивнула ему со все той же улыбкой, — он прижал ее к себе, и так они стояли, как после долгой разлуки, еще верных минут пять, прежде чем попрощаться.

5

Он встречал ее после школы, загуливая последние уроки, и снова дарил цветы (папашка был щедрый: пошли хорошие деньги). Листва рассыпалась щедрым великолепием; они иногда выезжали за город и гуляли по осеннему лесу, или шли на классический концерт (однажды побывали в кино, но убежали с половины сеанса, а в филармонию билеты были дешевые, и Женевьев любила красивую музыку, но слушала все-таки всегда у него на плече, не стесняясь соседей по ряду, и было вдвойне чудесно слушать за себя и за нее), или снова в кафе, если были деньги, или покупали булку, крошили ее и кормили голубей где-нибудь на трамвайной остановке, или просто, с потаенной тоской выискивая предлог, чтобы не расставаться подольше, вдруг обнаруживали перед собой всю зрящность

такого занятия и, рассмеявшись, еще долго оставались рядом друг с другом — просто стояли и держались за руки.

Женевьев возвратила Валере свободное дыхание и блаженную беспечность. Она могла идти по городу и распевать звонким, чистым голоском французские песенки, нимало не заботясь, как это выглядит со стороны, и, улыбаясь, оборачивалась к нему, спрашивая лукавым взглядом: «Ну что же, что ты не поешь?» — и в конце концов они пели вместе Дассена, Пиаф, Матье, Монтана, Гольдмана, Азнавура, Каас, загибая ногами листву, как в сентиментальном музыкальном фильме, и Женевьев весело смеялась над тем, как он перевирает слова, и поправляла его несчетное количество раз. Или она брала на свои деньги безумно дорогое вино в открытом кафе (родители переводили ей каждый месяц 200 франков, чтобы она в этой нищей России совсем не умерла с голоду) и в самом прекрасном расположении духа учила Валеру определять, сколько ясных дней было в году сбора урожая. В их месяце было много ясных дней: осеннее солнышко не оставляло их. Это был их солнечный месяц.

6

Сколько волка ни корми, он все в лес глядит — это к тому, что французская вздорная легкость давала в Женевьев себя знать: она и обижалась, и надувала губки, и умела ссориться из-за пустяков. Валера не принимал этого, он страдал, но внутренний его источник был слишком чист, чтобы свести себя с ума из-за девичьих капризов.

— Девушка, — воскликнул он однажды, когда Женевьев особенно легкомысленно зарвалась, и встряхнул ее за плечи, глядя ей в глаза горько: — девушка, ты знаешь ли, куда попала?

Они были на крыше шестнадцатизатяжки, куда забрались по небрежно открытой пожарной лестнице. Сев на бордюр и крепко сжав ее руки, он без особенных прикрас рассказал ей немножко о нашей несчастной стране. О том, что некий помещик в позапрошлом веке застрелился потому, как писал в предсмертной записке, что «жить честному и мыслящему человеку в России невозможно». О лагерных десятилетиях. О том, что дневную баланду на барже поливали сверху, потому что люди стояли впритык (а негры на невольничьих кораблях могли лечь, между прочим). О том, что по сей день в русской армии, как в славные времена, выбивают зубы сапогами, поэтому поступление в институт для юноши, пожалуй, не совсем дело вкуса. («Ах нет, бог мой, это все было раньше, это же советская система», — пробовала она возражать, уже робкая, как мышка. «Нет, черт возьми, не советская система!!» — воскликнул Валера, бросив ее руки.) О том, что каждая семья держит участок для овощей, как немцы после войны — что она думает, ее милый Валера не копал картошку? О том, что в деревнях женщины работают, как вьючные лошади, и глубокие старухи в сорок лет. О том, что их знакомство — вообще невероятная случайность (для сына шофера, кстати же!), и что она думает, чувствовали бы его одноклассники, увидь они его вместе с французской девушкой? — зависть до слюноотделения, а вообще об иностранцах принято здесь говорить как о «буржуях поганых».

Откуда в нем взялись все эти мысли? Кажется, он начал думать. Он кончил и поник, сгорбившись, с тяжелым сердцем. Женевьев стояла, глядя на него с распахнутыми глазами, с горестным ужасом. Ветер пошел над крышей — Валера показался ей химерой Парижского собора, каким-то страшным осудителем средневекового города.

Пошел дождь. Он укрыл ее своим дождевиком, они сидели так, пока тот не кончился.

7

Они возвращались домой на достославном «ЗИЛе» — Женевьев, смеясь, называла своего шофера *mon Guy*, намекая на Ги из «Шербурских зонтиков». Они легко повздорили накануне и уже давно все позабыли, но он не собирался мириться первым для одной девической блажи, вот еще! И она все не могла сказать, и так они сидели рядом в кабине, переполненные глубокой мучительной нежностью, тем более мучительной, что ехать оставалось только пять минуток. И вот Женевьев тихо начала песенку — ту самую, из «Шербурских зонтиков»:

*До свиданья, милый, не забудь меня;
В добрый путь, любимый, не забудь меня...*

И это чудное, кроткое, кающееся выражение... Валера не мог больше сдерживаться — он свернул в какой-то проулок, нарушая все правила (как, интересно, он здесь развернется?), и заглушил двигатель. Минуту они просто смотрели друг на друга — Господи, как же может быть красива девушка! Задыхаясь от счастья, он принялся целовать ей руки, затем глаза, губы, Женевьев, милой Женевьев, она тоже была, как в опьянении, она просунула руки в рукава его свитера, чтобы чувствовать теплые руки, это должно было завершиться первым чувственным опытом, горяче-гуманящим, стыдным, больно-счастливым. Но что-то случилось, и слезы внезапно подступили ему к горлу, он склонил голову Женевьев на грудь и вздрагивал от тихого плача, она не понимала сначала и гладила его, пораженная, растроганная, по голове, и вдруг ее тоже захлестнуло это, огромное, щемящее, слезное, неуместимое в груди, она разрыдалась, и ему теперь нужно было утешать ее, и полчаса они еще хранили друг друга в объятьях, дрожащие, невыразимо тронутые тем, что они впервые осознали, что за невыносимо, неудержимо большое их подчинило.

Оставалась одна неделя.

8

Они уже заранее простились, но у Женевьев было еще полчаса, и трамвай проходил мимо его школы, — она сорвалась, бросилась со своим рюкзаком ко входу напрямик.

Звонок уже прозвенел; но она взбежала на второй этаж и по счастливейшей, невероятной случайности сразу увидела открытую дверь, учитель еще не вошел, она влетела в класс; Валера стоял у подоконника и, смеясь, кому-то объяснял геометрию, вокруг него собрался кружок; «Ги!» — крикнула она, он увидел ее, и его обстоящие заметили, как вся веселость высохла с лица за один миг, и даже губы пересохли. «Тихо, — сказал он всем, — тихо», — и они оробели.

Они столкнулись у классной доски и стиснули друг друга в объятьях так крепко, словно их растаскивали; все несказанные за месяц слова она хотела сказать немедленно, немедленно. Класс замер, класс всегда гудит до урока, но все замерли тут же и ловили, что она говорила, хоть едва один умник мог понимать беглый французский. «Я буду любить тебя всю жизнь, — говорила она, — всю жизнь». Она не хотела ничего слушать и мешала с поцелуями слезы, и целовала его без конца. «У тебя поезд», — успевал он сказать, она его не понимала. «Да иди же!» — воскликнул он наконец горько. Она улыбнулась понимающе и побито, со слезным комком в горле, подняла свой брошенный рюкзак и выбежала прочь.

Он бросился за ней, чуть не сбив с ног учительницу. Та уже вплывала в класс с журналом под мышкой, но кого это заботило, все кинулись к открытым окнам, день был

случайно теплый. «Стой!» — вскрикнул он, выбежав; Женевьев была уже за школьной оградой — каменное сталинское детище с чугунными решетками и чугунными звездами на столбах. Женевьев обернулась, вскочила на цоколь и протянула ему руки через решеточные прутья.

— Нам все равно разлучаться нужно, мой милый, мой милый Ги, — сказала она, и еще молчала, и улыбалась ему. — *До сви-дань-я, милый: вспомнишь ли ме-ня?..* — спросила она, выпевая слова на мелодию из «Зонтиков» и с грустной шутливостью намекая ему на то расставанье.

— *В добрый путь...* — продолжил он; тоскливо улыбаясь, они поняли друг друга.

Ветер бросился ей в лицо. И, еще долго-долго не отпуская его пальцы, она выпустила их наконец и, соскакивая с камня, бежала к трамваю.

Глава III. Университеты

1

Валера тосковал долго и тосковал ужасно. Их письма друг другу сначала захлебывались какой-то многословной мучительной нежностью, потом, через эту же самую мучительность, и перестали быть многословными, точно оба они разом вдруг поняли, как бесполезно и жестоко этими воспоминаниями растравлять друг друга.

Валера тосковал тем более еще безутешно, что никакого светлого лучика вокруг не обещалось. Я очень люблю мою грустную страну с ее тоскливой грязью на каждой улице, но, боюсь, чутким душам вполне гадко бывает здесь. Как назло, все несчастья посыпались вдруг на него: норовили прижать ему дверью ногу троллейбусы и обхамить кондуктора и продавщицы. И как же, ох, ему опротивели все окружающие его бритоголовые балбесы и девушки, уляпаные помадой! Не то чтобы он с кем-нибудь поссорился — этого не знали за Валерой Арсеньевым, — но ему становилось грустно и пусто.

Будь Валера рожден совершенно под Венерой, он мог бы за это время превратиться в тихонького и несчастного князя Мышкина, но, слава богу, жизненная веселая ясность была слишком сильна в нем. Все же эта любовь оставила в нем борозду очень глубокую.

Он не забылся ни в чем определенном, он чувствовал себя одинаково бесприютно везде, да нигде, впрочем, особенно этим не тяготился. Он с печальным удивлением и как будто в первый раз снова смотрел на все вокруг, и мог оставаться по несколько часов хоть на автобусном сиденье, катаясь кругами, и глядел за окно, и все думал, свободного времени у него было хоть отбавляй — другие ведь выкидывают его на всякую ерунду, хоть на собачье беганье за золотой медалью в выпускном классе, например! — и он мог думать.

Совершеннолетие его прошло тихо и горько.

2

Но пришла весна, и озорной, счастливый Меркурий снова взял верх, и случилось еще вот что.

На местном ТВ была элитная интеллектуальная игра для элитной же молодежи, и называлась она как-то вроде «Брейн-сторминг» или «Эрудишен» — неважно! Распорядитель случайно привлек в игру и команду школы, где учился Валера, — заведения, ничем не блиставшего. Так Валера попал в команду и через то завел знакомства.

Увидев, что есть веселые и бойкие, беспечные и щедрые люди, что стригутся наголо и вставляют колечки в нос не от звериной тупости, а «как в Европе», что могут щеголь-

нуть ученым словечком, которое дураку и не выговорить, что, наконец, даже галстуки носят (эти галстуки особенно его восхищали), Валера был очарован совершенно. Принят он был в общество легко, за отсутствием европейских шмоток отцовским долгополым пиджаком и шейными платками соорудил себе образ «экстравагантный и романтический» — и пошла веселая пора! Теперь на целую весну — да и вправду, сколько же можно грустить?

Кутили необыкновенно. Деньги вдруг стали появляться (папашка расщедрился, умилившись на золотую молодежь: Валера, уплетая свою тарелку за вечерним ужином, с такими восторженными глазами расписывал свои похождения, что тот только покрхтывал от удовольствия) и расходились невероятно легко. Валера оказался, пожалуй, самым щедрым из своих камерадов. Все уже узнали за ним эту радостную детскую беспечность, так что даже из пьянки он со своим звонким смехом делал очень, по крайней мере, симпатичную пьянку, и уже при нем не ругались, и многие привязывались к нему — девушки особенно. Это стало каким-то невозможным донжуанством: он имел одно время три свидания на дню, и каждую любил без памяти. Безумная, фантастическая, счастливая весна! Но ему снова стало грустно; можно догадаться, что так и должно было стать.

3

Прочтя «Цветочки», я увидел: и тогда случалось то же самое. Изумительным мне кажется один случай, он повторился через 800 лет почти в точности.

Это было летом, когда Валера беспричинно вновь становился уже все грустней и грустней. Они кутили до полуночи на чужом выпускном, потом вывалились на улицу всею светской компанией и вот что придумали: подваливаясь к каким-нибудь прохожим, притворяться в дымину пьяными (а и притворяться стоило немного) и орать песни во всю глотку и пугать таким манером честных людей, и так проволочлись они уже всю улицу, довольные собой донельзя. Свернули в тихий переулок (всех очень насмешило предположение о нехороших встречах в таких переулках, и они ввосьмером именно и отправлялись разыскивать своего несчастного грабителя) и загорланили вновь для пущего веселья. Валера не принял участия и еще немного шел с ними, когда вдруг просто остался стоять посреди улицы. Не сразу заметили; стали оборачиваться и ободряли его криками на итальянский манер. Он все стоял, ответив только Риточке Салаховой, звезде компании, на вопрос о причине его действий:

— Не то...

— Э-э, лю-уди! Да ему девочку хочется, я смекнул! — завопил кто-то очень образованный, и сейчас же впережку с пьяноватым смехом послышались многочисленные «О-о-о». Парни с трагическим: «Валерка, брат! Давай, что ли, прощаться, пропащая душа!» и с обильным изображением слез полезли к нему лобызаться.

Валера стоял с сумрачным лицом, вдруг вырвался из их рук и быстро пошел прочь. Рита одна побежала догонять его. Когда он отошел уже дома за два, компания притихла, он обернулся и остановился. Она подбежала к нему и, взяв за руки, заглянула просительно в глаза: не то что здесь была какая-то особая любовь, но Валера был самым милым мальчиком в ее компании, и, кроме того... может быть, жалость ее взяла в этот момент?

— Я иду искать мою невесту, Рита, — сказал он ей шепотом, серьезно. — Она должна быть лучше всех. Я все оставлю ради нее. Пусти меня, Риточка, и беги назад.

4

Тяжелая тоска и странная стесненность в груди одолели его на все дальнейшее лето. Как потерянный, он шатался по городу — лето было жарким, пыльным, невыносимым — и сам не знал, что его томило.

С сердечным волнением он заходил в церкви и останавливался в смущении: ему хотелось становиться на колени, а люд был вокруг суровый, угрюмый и невесторженный. Ему хотелось молиться сладко и горячо, а вокруг шевелили губами беззвучно и строго. Костяные черные святые складывали для благословения худые пальцы и смотрели угрозно и неродственно. Он выходил со скребущими на сердце кошками, без толики благодати.

Однажды — уже в начале сентября — он оказался рядом с церковью, которую за редкие фрески превратили в музей. Он вошел: какая-то холодная суровая вознесенность охватила его немедленно. В церкви не было ни души, она сама была невелика, но с невероятно высоким, просторным куполом, полумрак был здесь верным и мудрым стражем. Он опустил здесь наконец на колени и замер, отпуская синюю тоску устремлять душу ввысь.

Но тут вошел бойкий бородатый дядька с фотоаппаратом через плечо — Валера едва успел подняться, отряхивая пыль с колен, — взглянул на него любопытно и вдруг с оживленной жестикуляцией стал объяснять, какая фреска в каком ярусе идет, какой артелью написана и что все это «страшно интересно!» Валера покорно кивал, наконец дядька ступешевался, понял, что вошел не к месту, торопливо попрощался, потряс руку, уверил еще раз в том, что «не хотел мешать», и вышел. Валера пожал плечами и вышел тоже. Его синяя тоска успела стать черной.

5

Одним днем, выходя из троллейбуса, Валера пошатнулся от толчка сзади и, наступив какому-то молодому человеку на ногу, чуть не сбил того с ног. Он вырвался, скача на одной ноге, из толкучки, с облегчением вздохнул и обернулся. Молодой человек все смотрел на него. Ему стало так стыдно, что он подошел и немедленно, быстро и смущенно стал говорить самые сердечные извинения. Тот сначала смотрел, недоумевая, а потом отвечал тоже смущенно, что совсем нет, напротив... — а троллейбус, в который молодой человек хотел садиться, закрыл двери и отчалил. И тут они оба примолкли ненадолго, рассматривая друг друга с большим интересом. Теперь Валера успел уже разглядеть своего собеседника, как следует.

Это был юноша в темном берете, очень достойной наружности, с черной остроконечной бородкой и с зонтиком в подобие трости — другими словами, Алексей Мстиславович М. собственной персоной. Валера заговорил снова и в одну секунду наговорил тому самых лестных слов в похвалу его наружности и достоинства, чем сей денди оказался смущен и польщен.

Каждый все больше очаровывался своим собеседником. М. зашел за Евгением С., своим самым близким другом, и гулять они продолжили втроем. Дойдя до открытого стадиона, приятели сели на лавочке и проговорили несколько часов увлеченно; под конец Евгений читал слабым отрешенным голосом свое «Подражание Верлену», а Алексей Мстиславович — вдохновенно — свою поэму в славянском духе.

Так Валера попал к интеллектуальной молодежи. Эти редкие создания в России хоть поубыли в последнее время, но все же не перевелись — те самые светлые, думающие мальчики, которых мы находим у Тургенева и Достоевского. Этот круг был еще более

узким и уж вовсе замкнутым, чтобы оградить свою замечательную редкость: один социалист, один безобидный и дурашливый поэт, один едкий и циничный философ и, самое главное, наши друзья. Во-первых, сам М., прадедушка «котораго получалъ 500 рублей золотомъ отъ государя императора», очень положительный и не без спеси молодой человек, с душой, впрочем, нежной и тонкой, писавший хорошие русские поэмы в духе Кольцова. И, во-вторых, Евгений, томный, усталый юноша, исхудалой манерностью красивый, но это все к нему шло; с философским равнодушием к жизни и безразличностью к вопросам быта; любивший долгие плетеные говорения и ничего больше решительно не любивший, как это вроде бы естественно для человека искусства, — он играл на кларнете и был композитором (да, вот так!), ленивым и талантливым.

Само собой, Валера был просто в щенячьем восторге.

Его приняли легко (Валера вновь скоро всех к себе привязал и сам во всех перевлюблялся), не то чтобы совсем на равных, потому что его абсолютная детская беспомощность во всех мудреных спорах наших образованных людей позволяла, конечно, над ним улыбаться, но все же он вызывал прямо-таки сердечное умиление, и без него уж становилось даже скучно. Можно догадаться, что Валере Арсеньеву самому принадлежность к русской думающей молодежи просто голову кружила. В тот, первый, вечер он летел домой как на крыльях.

6

Через три месяца ему вновь почувствовалось дурное. На каком-то литературном сборище Валера читал свой сокровенный, взволнованный, написанный в воспоминание о Женевьев рассказ, написанный с болезненной откровенностью — такие вещи и читать, и слушать не очень уютно: они слишком интимны. Все замолчали по прочтении, как пристыженные.

Евгений вдруг развеселился и заявил, абсолютно без всякой задней мысли, дескать, наш добрый товарищ, между нами говоря, несколько излишне возбужден на эту тему, а вообще же все эти романтические сопли из него с детства еще не выветрились — и дальше стал разглагольствовать о фрейдизме в литературе.

Валера смотрел на того во все глаза и просто не понимал, даже обидеться не успев, просто не понимал: господи, да что же с ним, зачем он это говорит? Уж от своих самых близких друзей он не ждал, чтобы...

Ах, да так прост был Валера, так светел, так ему хотелось никого ни капельки не обидеть, и не представлялось, как же без такой светлой душевности между друзьями можно иначе! И в своих друзьях, этих-то лучших русских людях, стал он обнаруживать вдруг и какую-то мелочность порой, порой что-то вредное, самолюбивое, этакое желание потешить себя язвинкой при вполне хорошем дружеском разговоре — зачем же, в самом деле?

Уж и Алексей Мстиславович посмеивался как-то жалостливо над «нашим романтиком» — вот что его обижало особенно горько! (Не глупым же восторженным мальчиком и не идиотиком же он был, в самом деле!)

Правда и то, что какая-то тургеневская влюбленная очарованность стала не оставлять его. Женевьев могла быть ей поводом, но сама она была не по Женевьев — образ Женевьев ее насытить не мог — по чему-то гораздо большему и совершенному, наверное, даже не девушке, хотя влюбчивой натуре это представлялось именно в девичьем образе: вечной, совершенной милой. Это было что-то прекрасное и угадываемое издали: прекрасное, и, Господи, какое далекое! То, что наполнило бы его разом и осветило бы всю

жизнь светом, отличающимся от теперешнего состояния души, как напалм от сумерек... И над этим неужели стоило смеяться?

И еще одна черта стала больно поражать его: дорогие его друзья имели соприкосновение с самым высоким, самым лучшим — и почему же ничто не трогало их, не восхищало настолько, чтобы изменить жизнь в корне? Читали Солженицына — и не плакали над бедной своей страной? Заводили речь о Достоевском, пронзающем до основания, жгущем сердце, на минуту даже становились серьезны и хороши — и могли дальше, смеясь, болтать о своей околхудожественной дряни? Имели Рахманинова в фонотеке, которого иные вещи он мог слушать только один, чтобы никому не показывать волнения, — и ставили его, как шарманку, на своих раутах!..

Он почувствовал вдруг, что невероятно многому ему нужно научиться, и стал брать книги из библиотеки, и читал много, очень много, художественные вещи и богословские трактаты, духовидцев средневековья и духовидцев современности, и не отпускал, пока не начинал проникать в них и находить созвучия в себе; читал еще с февраля и все лето 99-го и все питал эту растущую куколку, свившую гнездо в его сердце.

Он брал из фонотек своих интеллектуальных друзей творенья классиков и слушал их очень серьезно; начал с азбуки и дошел до мистики Скрябина и Рихарда Штрауса, до его «Смерти и преображения» — смерть и преображение, какая правда в этом сочетании слов! Гусеница также умирает: кокон куколки тверд снаружи, но внутри он стал зародышевой жидкостью с ее медленными течениями, без намека на живое существо, только точка сердца пульсирует в ней.

Кто знает, что творилось с ним вечерами, когда его просвещенные товарищи ездили по дачам, прыгали через костер с сельскими девушками, смеялись над ним за его монашество — вполне были счастливы, одним словом. Но совсем без чувства счастья ощущал запершийся безвылазно и закрывший от солнца окна своими темно-синими шторами и «образовывающийся в священных вещах» Бамбино, как пухнет без многой пользы его высокомустрый лоб и как все его духовные кладези только растят тоску невероятную. «Боже мой, да что мне в них! — готов он был воскликнуть порой. — Возьми их все, они не мои, возьми их насовсем, сделай меня снова ребенком!»

Для отдыха он взял себе Роллана, на французском, только для отдыха, но — странное дело! — натолкнулся на «Жизнь Рамакришны», и глубоко его поразил этот божий безумец, Рамакришна, говоривший со своей Кали, с Матерью Вселенной так просто, как мы с тобой. «Умей я так, господи», — сказал он себе и погрузил лицо в ладони после прочтения.

Глава IV. Преображение

1

В День города он ехал в автобусе домой, а рядом с ним покачивался да кривлялся пьяненький мужичишко, будто разминая мышцы лица, а потом вдруг вынул из кармана кассетный плеер — наверное, только что купленный — и стал на свою покупку просто умиляться, и ухмылялся глупейшим образом. «Господи, — скривился Валера, — вот ведь нашелся дурак с писаной торбой... как уж и интеллектуалом себя сейчас вообразит». И тут так давно зревшее как опалило его: «ВЫ-ТО ЧЕМ ЛУЧШЕ, ВЫ, ИНТЕЛЛИГЕНТЪЕ ПЛЕМЯ, ЧТО НОСИТЕСЬ СО СВОИМИ БОРХЕСАМИ, КАК ПЬЯНЫЙ МУЖИК С ПЛЕЕРОМ!» Необычайно горько ему стало — он вышел из автобуса и шел пешком до дома, с колотящимся сердцем, дыша тяжело.

2

Домой Валера попал в самое неподходящее время: родители зло обсуждали какую-то мелкую бытовую дрянь. Семейный скандал, наверно, зрел: к нему вошел отец (в подпитии, но мыслил вполне трезво, это подпитие только злости ему давало) и стал ни с того ни сего расспрашивать, где это он бывает? «Опять верно у каких сектантов был чаво мычишь? вырастили чистоплюя интеллигентика вшивого на отца-мать теперь и не посмотри — ТЫ ЗНАЕШЬ ЧТО ТВОЙ ОТЕЦ БАРАНКУ КРУТИТ ЗНАЕШЬ ДА?!»

Он уже кричал, встав, страшный, багровый. Вбежала мать и тоже смотрела на Валеру испуганными, будничными, глупыми глазами. Валера вдруг вскочил, вырвался в прихожую, накинул дождевик и выбежал прочь, сдерживая рыдания — боже мой, у него ни одной близкой души не было везде, везде, во всем свете!

3

Как безумный, он шатался по городу, не видя машин, разрезая толпы, — какие-то хмельные девчонки пытались заигрывать с ним и бросали что-то насмешливо-порочное вслед, какие-то мальчишки, от горшка два вершка, кричали ему весело дрянные слова, просто так, для своей взрослости, и тоже смеялись.

Он набрел на марширующих курсантов и невидяще вошел в их взвод, — его затолкали, начали давать тычки и орать на него все громче, а потом вдруг как-то расступились от него во все стороны, как от чумного, дали ему дорогу, а он пошел дальше.

ЕГО ВДРУГ ОДОЛЕЛО ВЕЩЕЕ ЗРЕНИЕ!

Перстами, легкими, как сон, его зениц коснулся кто-то, нельзя сказать, чтобы очень приятный подарок — он стал видеть суть каждой вещи и человека, всю грязь, спрятанную внутри, все следы прошлых воплощений. Откуда эти мысли, он сам не знал... Он должен был сейчас воспламениться изнутри, как отравленный технецием, и люди останавливались уже и с любопытством смотрели на него, похоже, ждали, когда он сейчас вспыхнет.

— КАЛИ!!!.. — возопил он громким голосом. Прохожие шарахнулись от него. Он сел на асфальт с подломившимися коленями, скорее, шмякнулся, как мешок с костями, и прошептал: — Забери меня отсюда, возьми целиком, женщина с темно-синей кожей².

Два милиционера двигались к нему. Он быстро встал и побежал от них к остановке, ввинтился в толпу штурмующих автобус и сумел стать последним вместившимся, двери закрылись, и сельдевозка тронулась натужно. Выходящие толкали его на всех остановках, он все терпел, пока не освободилось место — он сел на него, закрыл глаза и пробыл в оцепенении, пока не приехали на конечную остановку. Толпа вытряхнулась из автобуса и скоро рассосалась: мгновенно стало жутко тихо.

Уже стемнело, дома стояли высокие, как китайская стена. Он приехал в незнакомую ему часть города, на окраину, тут, похоже, начиналось поле: монгольская степь. Луна уже светила вовсю, над всем царил дом из красного кирпича, этажей в шестнадцать.

Он с четвертой попытки подобрал код на замке (нужные кнопки на таких замках прожимаются с легким сопротивлением: для тех, кто не знает), доехал в грузовом лифте до последнего этажа. Люк на крышу не заперли. Он вышел в прохладную звездную ночь. Подложив сумку под голову, лег на спину и так заснул.

² Речь идет об индуистской богине-матери, символе разрушения. Кали разрушает невежество, поддерживает мировой порядок, благословляет и освобождает тех, кто стремится познать Бога. (Прим. ред.)

4

Сон Валеры мне известен; он не поведал его никому, кроме Леры.

Первое чувство было, что солнце уже взошло — там, наяву, взошло солнце. То, что он спит, он знал, и между тем здесь все было таким же настоящим, и больше, он почувал это с восхитительной четкостью.

Предметы вокруг стали постепенно проступать. Он был в винограднике, в междурядье; солнце и здесь только взошло, и утро дышало удивительно нежное, утренняя белая дымка лежала. Вдалеке казался храм, еле угадываемый. Он шел к нему, вверх, под небольшим уклоном, замечательную легкость чувствуя во всем теле, и стало заметно, что кто-то другой шел ему навстречу.

Человек этот был, кажется, в желтом — да, в желтом, вроде бы — и уже, наверное, длинном одеянии, свободно ниспадающем, подобно тоге, и правая рука оставалась обнаженной, с черными, разделенными на прямой пробор и зачесанными ото лба назад волосами, с глазами глубокой синевы, с выражением лица мужественным, величественным и светлым. И, как он шел навстречу, Валеру уже начало охватывать робкое и сладкое предчувствие.

В одно мгновение он оказался совсем рядом — необычайно высокий, властительно выше его, как взрослый выше ребенка, он, Наделенный добродетелями, Сиддхартха, он, Царственный отшельник, Шакьямуни — Гаутама Будда.

— БУДДА!.. — воскликнул он по-детски от радости и, беря его руки, прижимал к себе к лицу. Затем опустил на землю. Владыка остался стоять.

Нужно сказать, что никогда Валере не приходила в голову мысль, что может быть какая-то религия «ложной», и, хоть зная о том совсем мало, он чувствовал всегда к Гаутаме Будде нежное почтение и уважение.

— Недолго пробуду с тобой, дружок, — сказал Владыка с благоволением.

— Хорошо, хорошо! — воскликнул Валера. — Чем обязан чести Тебя видеть?

Владыка улыбнулся.

— Две причины есть тому, — ответил он. Подняв голову, он произнес спокойно (так мне передала Лера): — Пусть прочтут о нашей встрече и пусть примолкнут на время сторожевые шавки, сеющие раздор между религиями. Неужели ссориться друзьям?

Валера радостно кивнул, понимая.

— И, друг милый, неужто Спасителя ожидал к себе? Не смог бы и говорить с ним от восторга, и совсем бы тогда закружилась твоя головка. Обо мне же не знаешь много и не питаешь особого респекту, — сказал Будда, вдруг сменив тон, самым ласковым образом, и Валера, застыдившись, опустил голову.

— Нашу общую Родительницу просил о себе, — услышал он над собой звучащий голос, — и примешь испрошенное покровительство. Вновь, как и прошлый раз, готов к высокому служению — оттого принимай вновь его тяжесть и его счастье. Так пусть будет.

Он опустил ему руки на голову, благословляя; Валера совершенно и осязательно запомнил это чудесное прикосновение.

— Желаешь ли еще спросить? — прибавил он, когда Валера поднял глаза.

— Смогу ли я работать, как Он хотел? — спросил Валера, замирая от тихой нежности и имея в виду Спасителя.

— Да, — отвечал Владыка с улыбкой, — крестной тропкой пройдешь.

Он обернулся и пошел к храму, что стал вдруг совсем близко — это оказалась сельская церковь в романском стиле, во Франции или Италии вы встретите такие.

— Постой же! — воскликнул Валера тут; Владыка обернулся. — Кем я все-таки был прошлый раз?

Насмешливая искра мелькнула во взгляде вопрошаемого. Он вернулся и молвил с улыбкой:

— Боже, что еще ты за ребенок... Бамбино!..

Будто какое-то сладкое воспоминание шевельнулось в груди Валеры.

— Бамбино, Бамбино... — забормотал он улыбчиво и смущенно. — На каком хоть это языке?

— На итальянском, малыш, — сказал Владыка. И с улыбкой добавил терцину в стиле Данте:

*Ты приучен к монашеской Аскезе,
В Италии был некогда рожден,
Твой древний городок звался Ашези.*

Все заколебалось, и стремительное налитие тяжестью почувствовалось, и вот тяжесть уже стала вполне равновесна земле и привычна, и он мог ощутить под собой бетонную крышу. И Бамбино открыл глаза, а над ним все так же светило солнце.

5

Он не помнил, как спустился: помнил только, что тело не чувствовалось сразу, как будто все затекло, — оно не болело, просто не чувствовалось, и ему пришлось верных пять, а то и десять минут вспоминать его, вспоминать, как двигать руки и ноги; ждать, пока по телу не побежали горячие мурашки.

Все это было незначительным. Устойчивое, ровное, теплое чувство благодати не оставляло его: ему не мешало ни долгое время ожидания, ни уличная брань, ни что-то иное.

По дороге домой он сделал три открытия.

Первое из них произошло, когда его выбрала кондукторша. «Не дури, мальчик, — сказала она в ответ на предъявленный проездной, — кончился уж давно месяц. Плати по-хорошему». День города в том году праздновался 29 июля. «Какое сегодня число?» — спросил Валера у соседа. И получил ответ: «Первое августа». «Как странно, — подумал он, связывая слова по-детски, — первое Августа. Первый день императора». Но, выходит, он проспал почти два дня с половиной?

Второе было таким. В трамвае пышная дородная дама поднялась и, озираясь на Валера с неудовольствием, шумно дыша, двинулась к выходу, бормоча: «Экий ароматный, тоже мне...» И на выходе брякнула довольно громко, ни к селу ни к городу: «Голубые все пошли!..»

Лежа на крыше два дня, и правда, можно провонять чем угодно... Валера принялся, затем обернулся в поисках соседа сзади — это оказалась достаточно симпатичная девушка — и спросил ее напрямик:

— От меня чем-то пахнет?

— Да, — ответила она, не скрывая улыбки. — Вы надушились, или вас надушили. Не так чтобы очень сильно, но чувствуется.

Валера принялся еще раз, затем понюхал зачем-то запястья рук — он ничего не чувствовал.

— Я ничего не чувствую, — признался он откровенно, — я не помню, где это меня так угораздило... Что это за одеколон, как вам кажется?

— Это «Первоцвет», духи, — заявила девушка. И, видя его обескураженное лицо, расхохоталась. — Ландыш, — сказала она ему, — духи с запахом ландыша.

6

Хотя дома и привыкли к тому, что он (раньше) частенько ночевал у приятелей, но, конечно, сильно переполошились его отсутствием и встретили с радостью, слезами и упреками. Он сослался на то, что немножко перекутили и долго отходили потом. «Нет, мам, девушек не было, — успокаивал он, — нет», — наскоро и с удовольствием завтракая в масштабах обеда, затем залез в душ и долго с наслаждением стоял под свежими струями.

Попав, наконец, к себе, он опустился на постель — усталость и некоторое бессилие все-таки давали о себе знать, — положил голову на локоть и с удовольствием поспал еще часок.

Проснувшись, он был поражен тишиной вокруг и ясностью солнечных лучей, проникающих в комнату. Улица и день казались застывшими.

Он расстегнул сумку с тем же — не то что нетерпеливым, а скорее законным — ожиданием, с каким апостол Петр искал бы у себя ключи от Небесного царства. Там оказалась, впрочем, только книга, «Гюнт» Ибсена. Лег на кровать и погрузился в чтение.

Теперь обнаружилось еще одно: мощь и одновременно детская непосредственность ума, скорее фантазии, нет — понимания, ясно проникающего даже за строчками перевода в первоначальную мысль и архетип этой мысли, связующей до этого разрозненное и одновременно не теряющей, как раньше, единую нить повествования.

Да, это должно было дать разгадку. «Сольвейг, — сказал он себе, — SolVia, солнечный путь, и SoloVia — одинокий путь — это моя цель, а Петер Гюнт — ищущая душа, я сам. Его имя разорвано, а ее едино. Как они соединятся?»

Солнце проделало верную четверть своего дневного пути, но и Бамбино приблизился к концу книги. Еще не было семи, когда он дошел до тех почти самых последних строчек, где Сольвейг говорит о Гюнте:

МАТЬ Я ЕМУ И ЖЕНА, А ОТЦОМ ИМЕНУЕТСЯ ТОТ,
ЖИЗНЬ КТО ДАЕТ СВОИМ ДЕТАМ И ВСЕМ ОТВЕЧАЕТ МОЛИТВАМ.

«Стоп, стоп, стоп, не так быстро», — сказал Бамбино и поднялся на кровати. Оно потекло внутри неудержимо, как будто какая-то часть существа прорвалась, лопнула, как воздушный шарик, и выпускала внутрь: похоже сперва на только одну холодную, освежающую каплю после умственного зноя, после которой идут две, четыре, затем струйка, ручеек, затем влага в избытке, затем потоки, затем море, затем океан!..

Я ЗДЕСЬ, ЛЮБИМАЯ (но было ли здесь и теперь, был ли один и другой и не стало ли все одним?).

Я — ЭТО ТЫ.

СЛЫШИШЬ ЛИ ТЫ ТЕБЯ?

ДА, ТАК.

ТОГДА ГОВОРЮ ТЕБЕ:

СОБЕРИ ВСЕХ МОИХ ПОД СВОИ КРЫЛЬЯ,

ВСЕХ ТВОИХ ПОД МОИ КРЫЛЬЯ,

ВСЕХ НАШИХ ПОД НАШИ КРЫЛЬЯ.

Это был первый раз, когда Бамбино услышал Ее голос, и первые Ее слова.

Цветочки, или истории о Бамбино и его друзьях

Я выбрал из этого периода жизни Бамбино самые яркие моменты.

I. Пчелы

«Станьте цветком, — говорил Рамакришна, — и пчелы не заставят себя ждать».

1

В Музыкальное училище вошел молодой человек в дождевой накидке, с мягкими каштановыми волосами, с ироничным мудрым взглядом — и направился решительно в классы.

Бамбино шел давно по городу, ведомый лишь чувством направления. Интеллектуалы не нужны Любимой, но те, кто имеет чуткое сердце на каждое душевное движение — лишь музыка в полной мере учит чуткости, и потому было разумно идти в музыкальное училище.

Он вошел в пустой класс: одна девушка еще только собирала рюкзачок — он увидел это тонкое совершенно русское, исполненное тихой скрытой ласки создание и понял уже, наверное, что принес по адресу свою живую воду.

— У вас есть несколько минут для меня? — спросил он. Она кивнула, смотря ему в глаза с удивлением. Он назвал свое имя и спросил ее; сел напротив, начал говорить, а она слушала.

Закончив, он встал. «Подумай, Лера: я не знаю, как это рассказать, но знаю, что нужно, и что могу передать, тоже знаю. Но я тебя, наверное, слишком испугал многим говорением: меня можно принять за сектанта, правда?», — говорил он. «Нет», — ответила она и тоже встала.

Никаким зельем невозможно очаровать таких спокойных девушек, но если они видят, то видят сразу. «Нет, — сказала она так же спокойно, — я уже и без того пойду с тобой». Так Лера, имя которой так удивительно совпало с его русским именем, стала первым учеником Бамбино.

2

Фазиль сидел в вечернем кафе над винным шкаликом и с презрением следил за суетящимся людом из глубины своих кавказских глаз. Нелепо ему было в этом бестолковом городе.

— Мое почтение! — услышал вдруг он. Некий юноша поклонился, прижав руку к груди, и сел напротив.

Фазиль взглянул ему в глаза гневно, но тот не смеялся и смотрел в глаза так хорошо и доверчиво, что он уж и не знал, что подумать... Фазиль отвел глаза и немного пододвинулся за столиком.

— Добрый вечер, — сказал он, спохватившись: неписанные законы нельзя нарушать. Некоторое время оба молчали. Бамбино с любопытством изучал нового товарища.

— Здесь и правда невесело, дружище, — сказал он участливо. Фазиль вздрогнул и посмотрел в глаза очень пристально своему собеседнику: в тех было только честное дружеское сочувствие, и, против воли тронутый, Фазиль опустил глаза.

— Мне не нравится этот город, — сказал он, помолчав. — Здесь красоты нет. Здесь даже цветов нет.

— Да, — согласился тот. — Хотя подожди минутку... — И так же необычно, как появился, он встал и вышел. Фазиль остался сидеть неподвижно. Но велико же было его удивление, когда собеседник его появился вновь с тюльпанами и положил букет на стол.

— Ты любишь тюльпаны? — спросил он звучным, низким голосом. — Вот это оранжевые, вот желтые, вот алые, вот фиолетовые, а вот один белый. Держи, — и он протянул букет Фазилю, улыбаясь.

— Шарквела? — воскликнул Фазиль. — Зачем?

— Что же мне хорошему человеку не подарить цветы? — спросил Бамбино весело и наивно.

— У нас тюльпаны до самого горизонта, самых разных цветов, — сказал Фазиль со вздохом. Он плеснул вина и протянул гостю.

— Хороший виноград, — услышал он с удовольствием. — Хороший сбор.

Фазиль уже улыбался; Бамбино встал.

— Поехали со мной, дорогой друг, прочь из этих грустных мест! — сказал он, улыбаясь. — Я покажу тебе самые красивые цветы.

Немедленно они, взяв с собой превосходного вина, оставили Европу и сели в обшарпанный автобус, идущий за город. Они вышли на дальней остановке и шли через широкие цветочные поля. Полевые цветы в нашей полосе, может быть, не столь ярки, как южные, но они так же прекрасны.

Солнце еще ласкало облака. У Фазиля оказался рог, настоящий кавказский рог на серебряной цепочке. Сев напротив друг друга, они пили вино и говорили всю ночь напролет. Бамбино слушал и понимал гортанные слова южного наречия, сам вначале говоря редко и увенчивая долгие тирады своими, как выразился Фазиль, жемчужинами мудрости.

Пряные ароматы восходили от земли, живыми шорохами полнилась ночь, духи воздуха проносились ветерком, колыша травы, полная луна вышла и осветила поле. Более всего Фазиля изумляло то, что от его собеседника тоже шел легкий цветочный аромат: запах ландыша.

Когда поток речи Фазиля иссяк, Бамбино заговорил сам, и здесь его начала восхищать мудрость и какая-то наивная простота слов его неожиданного знакомца. Прощались они, едва засветило на небе. Фазиль спросил позволения ему, Бамбино (это имя он произнес серьезно и невозмутимо, не обратив, как нерусский, внимания на его странность для русского уха), быть его, Фазиля, учителем.

— Мне хотелось бы проверить временем твое горячее и, может быть, скоротечное желание, — ответил ему Бамбино серьезно. — Если оно не оставит тебя, ты найдешь меня в... — и назвал ему свои университетские координаты.

Когда Бамбино, проспав утро, появился к третьей паре (он поступил на автомеханический факультет и преславно валял дурака), ему передали великолепный букет, сказав, что с утра нелюдимый, странный кавказец занес его.

3

Кристиан стоял на остановке. Дождик залез ему за шиворот, проходящая машина окатила его сегодня с головы до ног природной русской грязью, девушка, которой он объ-

яснился с содроганием сердца в любви, высмеяла его косноязычие и показала ему язык, и вообще он был самым несчастным немецкоподданным в России.

«Сейчас должен появиться святой Франциск и облегчить мои страдания», — подумал он с тоской. Он открыл глаза и увидел святого Франциска. Тот шел в своей накидке, перепрыгивая лужи. Это мог быть наверняка только он, потому что в такой кислейший день он шел под дождем, также весь мокрый, как цыпленок, и широко улыбался.

Он уставил взгляд именно на Кристиана и смотрел на него внимательно и лукаво.

— Мой, — сказал он, улыбаясь. И, подойдя ближе, поднял ладонь и произнес торжественно: — Хэнде хох!

Кристиан машинально поднял руки.

— Ты всего боишься, — сказал Бамбино вдруг серьезно. — Ты боишься даже меня, хотя это последнее дело. Выбирай: или ты остаешься здесь и продолжаешь бояться, или идешь сейчас за мной на красный свет через всю площадь.

Кристиан сглотнул.

И вот, молчаливо и стремительно, шагая в потоках воды, они пошли через широченную магистраль, и машины завизжали колесами и стали останавливаться, а водители их высовываться с бранью из окошек. Перед яростными фарами, перед рычащими мордами прошли они и достигли берега.

— Кто вы? — воскликнул Кристиан, едва они ступили на твердую почву. Его Моисей обернулся.

— Ты ловил, никак, маршрутку? — спросил он неожиданно. Кристиан кивнул. Бамбино взглянул ему в глаза исподлобья и, стараясь сдержать улыбку, проговорил значительно: — Машины железные и некузьявые. А лучше тебе быть со мной ловцом человек.

4

В следующих историях речь пойдет о Лоле (ее отец настоял на редком имени Долорес, которое записали девушке в паспорт).

Они сидели в «Шоколаднице», Лола выхлестала уже... — сколько же она тогда выхлестала? — ее дурехи тоже не отставали, их кавалеры успели смыться, а Лоле было весело, чудесно весело — как она гуляет сегодня! — и хотелось ей теперь какой-то разгульной дерзости, бешеной выходки, когда в «Шоколадницу» вошло нечто несусветное вроде странствующего монаха и подошло к стойке. Лола толкнула Катюху локтем под бок.

— Зыркай, зыркай, — прошептала она.

Молодой человек в черном мокром дождевике имел совершенно пилигримскую наружность. Он спросил чаю за шесть рублей (почему не пьет дома свой чаек?) и сел за свободный столик, вернее же, за уляпанный дубовый столик как есть средневековых размеров, сидя за которым, совершенно понимаешь происхождение выражения «нарезаться в доску». Глаза Лолы шельмовски вспыхнули.

— А ну все за мной! — скомандовала она, и все трое девиц ринулись на противоположную скамейку.

— Как спалось? — осведомилась Лола невинно. Девочки захихикали. Юноша поставил чашку, которой грел руки.

— Я и вправду сегодня немного поспал, — сказал он простодушно.

— А что так? — поинтересовалась Лола. Тот улыбнулся.

— Я провел ночь с одним прекрасным юношей, — охотно отозвался он, не думая, как его будут толковать (наверное, и потом не догадался), — мы пили вино и... — но бесстыдный довольный девчачий визг его заглушил. Лола перегнулась, приблизив лицо.

— А со мной?.. — спросила она жарко.

Ох, знала она, как хороша, наповал хороша, зверски, зверски именно, с пантерьими своими глазами, с раздувающимися ноздрями, чуткими, звериными, с дикой рыжей копной волос — бесовское что-то было в этом лице!

Юноша взглянул ей в глаза глубоко и с состраданием.

— Я же вижу, ты и не такая совсем, ты ведь чистая, хорошая девушка, — молвил он тихо и серьезно ей одной. — Что же ты, бедная моя, себя кажешь подзаборной девкой?

Лола выпрямилась, как охлестнутая, и от гнева побледнела.

— Тебе какое дело? — выкрикнула она. — Ты... ты... спаситель мне нашелся... Ты знаешь кто? — И, не владея собой, залепила ему оплеуху со всего размаха.

Дурочки ее, разом осекшись, сейчас, бледненькие, выбирались из-за стола — уже бармен покосился очень недружелюбно и подумывал, не вызвать ли охрану. Никаких женских истерик он не любил, самое хлопотное дело.

Обе подружки уже смотали удочки. Три боровистых бугая за соседним столом перемигнулись и наблюдали.

С бесконечною тоской посмотрел на нее пилигрим и вдруг, отняв ладонь от ударенной щеки, взял в свои ее руки.

— Солнышко мое, — сказал он улыбаясь и с грустью, — милая моя сестричка, как бы я хотел помочь тебе! Но только если ты сама этого не хочешь, целый полк таких, как я, тут ничего не сделает. — И затем, встав, трепетно, целомудренно, с братской лаской провел рукой по ее волосам — Лола замерла, не шевелясь и не дыша. — Дай бог, еще увидимся, — сказал он и вышел.

Тут же трое бандюг, перемигнувшись вновь, подсели к ней, Лола пыталась быть развязной, да сердце лежало не на месте. Вдруг один откровенно облапил ее рукой, и дело принимало уже совсем нехороший оборот...

Бамбино не отошел и девяти шагов, когда Любимая велела ему вернуться. Он горячо поблагодарил и повернул назад. Троица просто остолбенела, когда он вошел.

— Что же, ты идешь все-таки? — спросил Бамбино как ни в чем не бывало.

И вот, глотая слезы, Лола жалко засуетилась, а трое, не шевелясь, смотрели на него в упор и досмотрелись только до того, что он подвел ее к стойке, спокойно помог заплатить и невозмутимо вывел девушку за руку.

На улице Лола вдруг не смогла стоять прямо и к тому же начала дрожать в своем откровенном наряде, как мышь, — был лютый сентябрь. Бамбино укутал ее своим большим пушистым свитером, оставшись в дождевике; выяснил адрес и аккуратно повел к остановке.

— Девушка не в себе, вы не уступите место? — спросил он в трамвае просто и деликатно.

У дверей Лола не могла вставить ключ — он отпер дверь сам. Квартира была бабушкина, полуторакомнатная (с каморкой) «хрущевка», но сама бабушка жила здесь редко, а Лола сбегала сюда частенько, когда «предки заедали». Он проводил девушку в обшарпанную кухню, усадил ее на табуретку, укутал ее, продолжавшую трястись, одеялом — она следила за ним во все глаза, — заварил чаю с какой-то крепкой травой, сорванной по дороге (о, Бамбино был знахарь в своем роде!) и протянул ей чашку. Лола выпила два глотка и смотрела на него так жалостливо и нежно, что он, глядя на нее, растянулся в улыбке, и она вслед за ним пробовала улыбнуться.

— Ноги у тебя мокрые — сказал он сочувственно и пошел искать носки. Переодевая ей, изумленной, бабушкины носки, он мотнул головой. — Бог мой, какие у тебя холодные ноги! Подожди минутку...

Бамбино разобрал постель, осторожно подхватил ее и отнес на руках (откуда силы взялись?).

— Спи, моя хорошая, — сказал он ласково из прихожей. — Дверь захлопну: у тебя замок с защелкой.

Девушка вздрогнула.

— Что еще приключилось? — спросил он.

Она выпрямилась на постели:

— Ты не останешься?

— Нет, — покачал он головой. — Меня дома ждут: я и так отлучаюсь часто.

— Тогда... тогда... я тогда... если ты не останешься... — Лола всхлипнула и вдруг залилась горькими рыданиями, упав лицом в подушку.

Бамбино опустил свои ботинки, сжав губы. «Милая, ты сама знаешь, — сказал он мысленно, — мне никакой из них не хочется касаться».

«ТЫ РАЗВЕ ЗАБЫЛ, ЧТО ОНА — ЭТО ТОЖЕ Я», — спросила она его.

Бамбино закатило холодной волной. Он скинул ботинки, погасил свет в прихожей, опустил на кровать и обнял все еще рыдавшую девушку.

— Ну что ты, что ты, — шептал он ей, доверчиво к нему прижавшейся, — вот видишь, я остался...

Наутро, с первыми лучами солнца, Бамбино проснулся и, сев к столу, взял лежавшую там книжку — это был Бабель, «Конармия». Он раскрыл ее и прочитал то, что убедило его совершенно в правильности случившегося, — то единственное место в «Конармии» о Спасителе. Этот отрывок тот, кому нужно, найдет сам: тайна эта столь сокровенна, что лишь с великой душевной чистотой и бережностью можно прикоснуться к ней. «Женщины любят Франциска, пане...»

Лола проснулась.

— Привет! — крикнула она весело и, выскочив из постели, зашлепала босыми ногами по полу. — Куда мы сегодня идем?

Бамбино обернулся и покачал головой, с внутренним смехом ловя себя на этом стариковском жесте.

— Нет, милая девушка, никуда мы не идем. Тебе я больше не нужен, а мальчиков ты найдешь множество, и я пошел своей дорогой.

Лола надолго застыла, поменявшись в лице и размышляя, и вдруг, подойдя к нему, охватила руками, опустившись рядом на колени.

— Ох, ох, прости, не так я сказала... Я тебя не отпущу, ты знаешь?

Бамбино грустно освободился.

— Едва ли ты сможешь остаться со мной, девушка, — ответил он.

— Я. Без тебя. Не смогу. Жить, — сказала Лола просто и, как-то заискивающе-нежно улыбаясь, присела перед ним на колени в позе мальчика-пажа. Бамбино посмотрел на нее внимательно.

— Девушка, девушка, знаешь ли, чего просишь? — молвил он устало. — Моим ли крещением креститься хочешь? — тихо сказал он и проник ей в глаза взглядом таким тоскливым, что Лола замерла и похолодела от всей этой меры тоски, что лежала в одном человеке. Долгое молчание последовало. Лола сжала руки на груди.

— Я не знаю, кто ты, — сказала она, слезы застлали ей глаза. — Но я знаю, что навсегда теперь куда хочешь пойду за тобой.

— Тогда слушай, — серьезно ответил Бамбино и выпрямился. — Тяжело тебе придется, если пойдешь со мной. Ни одного бесенка не потерплю в тебе, всех прогоню, и они вселятся в твоих знакомых. Никогда, никогда ты не сможешь жаловаться. Бу-

дешь жить на постном масле и захочешь сбежать от меня на второй день. Что, и теперь пойдешь?

Лола кивнула.

Бамбино прошел в коридор и при ее безмолвном удивлении натянул дождевик в рукава.

— Сейчас нет, — сказал он, — это был бы нечестный захват. Ты помнишь притчу о десяти девушках, которые должны были дожидаться жениха? Я приду в то время, когда ты меня меньше всего будешь ждать. Вот тогда и будь готова. Тогда и посмотрим.

II. Сеятель

1

Рассказывают так.

Вечером Лола собрала гостей у одного из своих поклонников и устроила форменный кутеж. Зачем, спрашивается? Я думаю, эта встреча выбила ее из колеи, и ей снова хотелось найти равновесие и заодно, быть может, проверить искренность своего порыва — не разойдется ли он при столкновении с мерзкой и трезвой жизнью.

Было выпито порядком и шумелось громко — было то состояние кутежа, когда всем еще только весело и гости еще не валяются под столом, — а главная виновница торжества разошлась больше всех и вознамерилась уже было засунуть своего хомячка в чайник (к чести ее заметить, пустой).

Позвонили в очередной раз, и некая Светочка побежала открывать. Молодой человек, ей незнакомый, стоял на площадке. Светочка открыла без долгих думаний, юноша без всяких предисловий прошел в «банкетную залу» и поспел как раз к моменту, когда хомяка общими усилиями уже погружали в чайник, и встал на пороге. Лола взглянула на него, и заварочный чайник выпал у нее из рук вместе с животным, которое тут же забилося под диван.

— Мы идем, — сказал юноша только.

И вот, оставив немедленно всех своих домашних животных и все свои шальные выходы, Лола встала, тихая, как овечка, прошла в прихожую, молча оделась и пошла за ним, а гости в подлинном смысле слова остались с открытыми ртами.

2

А на улице выл ветер, пробирая до костей. Бамбино повел ее прямо к трамваю и яростно глянул, когда Лола робко просила переждать. Она очутилась в стылом и грязном жестяном ящике, двери хлопали каждый раз с особенным ожесточением, шел гул по всему корпусу, ее недружелюбно сдавили со всех сторон, и огромный, заросший мужчина налег в давке ей на плечо, сминая блузку, — и Лола не то что не огрызнулась, а боязливо сжалась.

Бамбино вышел на предконечной, а ветер уже хлестал остервенело, мелкие камешки бросал — он пошел навстречу ветру и увеличивал шаг, ей приходилось почти бежать. Пошли деревенские домишки, скоро остались позади и они, прошли мимо заброшенной церкви, шпиль поднялся в темном небе неприятно и сурово. «Куда мы идем?» — спросила Лола. «В психушку», — был ответ; она больше не взялась спрашивать.

Они подошли к длинному зданию; Бамбино толкнул дверь служебного входа. Между двумя дверьми он молча натянул белый халат и, смерив ее щегольской наряд взглядом — ей самой вдруг стало за тот неимоверно стыдно, — сказал насмешливо:

— Тем лучше, гражданка посетительница.

Несчастное, убогое уродство немедленно горестно стиснуло ей душу. «Здесь только дебилия, самая легкая стадия», — говорил ее провожатый. «Вот эта женщина, — он мельком кивал, — писала удивительные стихи, и ее чуткое сердце не вынесло жизни в жестоком государстве. А может, ее просто упекли как особо опасную смутьянку, да так и позабыли. У нее 370 ненапечатанных стихов».

Уродливый мужичишка с косенькими глазками, с заячьей губой поймал ее руку и хотел поцеловать. Лола отдернула руку как от проказы; мучительно стыдно ей стало за это, до багровой краски в лице. «Не побрезгуй, королева, — слышала она за собой, — не побрезгуй...» Две старухи без последней человеческости в лице ласкались друг к другу на диванчике в коридоре; она отвернулась.

Бамбино медленно вышел с серьезным и строгим лицом, как после крестного хода. Лола шла за ним, подняв воротник курточки двумя руками и спрятав в него лицо: только что виденное вдруг вставало у нее перед глазами, слезы подкипели к горлу.

У церкви он сел в мокрую траву и обхватил ноги руками.

— Ну что, моя миленькая?.. — спросил он тихо и ласково.

Лола опустила рядом на колени и спрятала голову у него на груди, смачивая ее слезами вместе с дождем.

— Теперь верю тебе и люблю тебя очень, — сказал он ей тихо. — Ты ведь даже, — он улыбнулся по голосу, — колготки не побоялась испачкать.

Когда Лола подняла голову, следующие слова вышли из ее сердца:

— Позволь мне только любить тебя, светлая моя звездочка, а я буду самой хорошей твоей помощницей.

— У тебя вокруг головы небольшой венчик, — ответил он ей, улыбаясь.

3

Правда, еще однажды она сказала ему, как извиняясь и задушевно-виновато:

— Тут есть еще одно дело, Валера, я атеистка, это ничего?

— Глупая, — ответил ей Бамбино очень ласково, — разве еще могут существовать такие люди? — И подождав, он добавил: — Разве без Него, без Бога, не было бы ни любви, ни счастья, ни грусти от стихов, ни нежности в девушкиных глазах, а была бы одна биологическая масса и теория рефлексов? Разве мотылек только так на огонек летит, чтобы сгореть? Все-все тянется к свету, даже растения поворачиваются за солнышком, самый маленький мотылек знает об этом. А ты и не знаешь, такая большая девушка?

Бамбино прикусил кончик языка, улыбнувшись, и сказал дальше:

— И еще: если ты атеистка, то чем будет, что ты ко мне чувствуешь и что за этим знаешь? Это будет заурядным увлечением мальчиком, и добро бы просто смазливой мордашкой, а то ведь еще и сумасшедшим. Или я, — добавил он, смеясь, — похож на сумасшедшего?

4

Вернувшись к Фазилю, я коротко расскажу вам, как происходило его «наставление». Бамбино учил его (впрочем, он сам не любил этих слов: *учитель, учение*) не по книгам, но в каждодневной жизни, как бы между делом, на несложных примерах, без полутонов, чтобы те легко схватывались его наивно-природным сознанием — примерами ему слу-

жило все, что попадалось на глаза, — в первую очередь стремясь уделить внимание чувству гармонии и справедливости.

Он говорил ему, остановившись перед щитом с рекламой косметики:

— Взгляни, Фазиль: какое огромное полотно, как много людей мучились над его придумкой, как серьезно они, наверное, принимали — бизнесмены, деловые люди — этот огромный бумажный фантик с парой слов на нем. Теперь он висит здесь и рекламирует — что? — обман: девушка косметикой желает быть лучше, чем есть внутри, ведь на лице отражается душа человека. Этим же она живет как бы в кредит, нечестно, не по средствам: когда она привлечет юношу, она не сможет наградить его тем, чем обещала, и причинит огорчение и ему, и ей.

Или он говорил, увидев рекламу мясокомбината, на которой были улыбающиеся теленок и свинка:

— Посмотри, Фазиль, какая ложь здесь: вот ведь эти животные улыбаются, как бы оправдывая свои убийства и существующий порядок вещей: будто бы так и положено человеку есть животных. На самом деле это не так, животные плачут, они плачут перед своим убийством, Фазиль, плачут настоящими, крупными слезами.

После этого Фазиль, скрепя сердце, решил отказаться от шашлычков, хачапури, чурчхелы. Бамбино не настаивал на этом, но, напротив, кротко попросил его не мучить себя и не отказываться от привычной пищи, если это так тяжело. Но Фазиль теперь практически не ест «плачущих животных».

5

Лола также с удовольствием вспоминает счастливое время своего учения. Ее Бамбино учил прежде всего жить легко, как ребенок. Тысяча затей приходила ему в голову: он заставлял ее, например, проходить через толпу — через озлобленную, стиснутую, упертую толпу какой-нибудь очереди — звонко покрикивая «О-о-осторожно, открытая краска!» — и сам только смеялся при этом. Или он покупал с лотка сувенирную дудочку и говорил тут же, на ступеньках Гостиного ряда, на виду у зевак играть на ней — и, когда Лола недоуменно сжималась, он смотрел на нее весело округлившимися глазами: «Это ты-то и чего-то боишься?» Лола смеялась и начинала играть на дудочке, а он извлекал вдруг из-за пазухи такую же и вторил ей с бесконечными переливами. Или во время дождя снимал вдруг легкие сандалии на босу ногу и заставлял ее тоже снять обувь, и они бойко шлепали по лужам босиком на виду у прохожих. Или лазать через заборы (и пусть читатель не дуэт губы: сам-то он в жизни перелез ли хоть через один забор, или помешало ему его добропорядочное брюшко?). И каждую из этих «дисциплин» они, смеясь, заносили в ее зачетку — в настоящую, университетскую, специально для этого купленную, — вот так, например: «Курс лазания по заборам. Зачтено».

6

С Кристианом было сложнее. Этот немецкий юноша романтического склада был настолько робок, что с девушкой не мог заговорить, не покраснев. Тогда наш друг вознамерился привязать к его голове воздушные шарик и заставить гулять так по улице, и только когда Кристиан взмолился противу того слезно и чуть не на коленях, он смягчился и переменял воздушные шарик на гамлетовский плащ и рыцарский берет. Мало того, он раздобыл ему еще и большую тупую учебную шпагу в придачу.

Добившись, наконец, сносных результатов при покупке Кристианом в одном наряде пирожков на улице, он пошел дальше: повел его в Университет, где послал спросить мела в аудиторию на перемене — девушкам на съеденье.

— Прости... простите, девушки, у вас нет лишнего куска мела? — пролепетал Кристиан в первый раз. На него уставились, замерев, и он позорно ретировался.

— Ну, и что это такое? — осведомился ожидавший у выхода Бамбино, лукаво склонив голову набок (слышать он никак не мог, но, видимо, мог узнать по его овечьему виду, как Кристиан, выходя, ни старался ободриться). — Экзамен не сдан, и требования повышаются! Теперь тебе нужно попросить мелу и съесть его на виду у всех.

Кристиан, «скрипя сердцем», как у нас говорят, вошел в ту же аудиторию и осведомился еще раз насчет мелу. Теперь все затихли и уставились на него озадаченно и даже боязливо. Тогда он мужественно взял «кусочек мела» и начал его грызть: тот был противным и пресным. Вокруг зашептались и с первых парт стали отползать.

— Девушки, — сказал очень серьезно Бамбино, вошедший вслед за ним в белом халате, — проявите спокойствие. Это душевнобольной человек, он ушел из-под надзора врачей. Пожалуйста, выйдите все отсюда, не делая резких движений.

Девушки с бледными лицами стали торопливо собирать сумки и потянулись по одной через дверь, а Кристиан доблестно грыз свой мел. Когда в аудитории никого, кроме них, не осталось, Бамбино повалился на парту и расхохотался.

— Молодец, Кристиан, — воскликнул он, — bravo!

7

Зато с Фазилем было совсем, совсем иначе. Они шли по улице, и Фазиль презрительно фыркнул при виде нищего — молодого оборванного парня. Фазиль принадлежал без шуток к древнему роду, и его не нужно было учить гордости и независимости. Бамбино обернулся и одел его очень пристальным, горячим взглядом.

— Стыдись, — прошептал он. — Он может быть кем угодно, но ты сейчас посмотри не на человека, а на его тряпки.

Фазиль стоял как оплеванный.

— Завтра утром, — начал Бамбино снова тихо и серьезно, — одевайся в самое плохонькое тряпье и садись здесь же, на ступеньках, просить милостыню. Когда соберешь рубликов десять, тогда приходи ко мне, Фазиль. Жду тебя, а пока прощай. — И, посмотрев еще на него долго и грустно, он пошел на трамвай.

Сжав зубы, Фазиль извлял свою старую одежду в грязи и назавтра рано утром сидел на ступеньках у собора. Слово Учителя должно было быть крепче самого твердого в нем, и нужно знать, что для горца значит такое слово.

Один Бог ведает, что пришлось ему передумать в эти утренние часы, когда еще нет прихожан. Почтенные наши колыхающиеся матроны вставали перед ним и поливали его потоками воспитывающей брани. Несколько раз неизмеримые гнев и гордость поднимались в нем, стискивали ему тисками горло и вырвались вдруг душащими сильными слезами — Боже, до чего может быть несчастен человек! Слезы всегда очищают.

Старушка подала ему и коснулась плеча, пробормотав что-то ласковое и жалеющее, — он снова залился слезами, теперь происходящими от горячего сострадания со всеми.

С содроганием я пишу об этих слезах: увидите ли вы когда-нибудь, чтобы кавказец плакал на людях? В автобусе и впрямь на него оглядывались — Господи, какое значение это теперь имело?!

Бамбино понял с первого взгляда все и прижал его к груди, не слушая слов Фазилия о том, что он так и не набрал десяти рублей...

8

А как происходило это с Лерой?

Бамбино однажды признался Лоле, что Лера — самая сложная из ее пчелок, для которой нужен особенный подход. Лера жила, как жили и живут некоторые русские девушки, которые не могут утолить себя заурядностью повседневности, почти исключительно музыкой и литературой.

Что же, они начали с классической литературы. Множество из остающегося за бортом школьной программы, как раз самое яркое и потому старательно обходимое школьными (м)учителями, стало появляться на столе у Леры, рекомендованное Бамбино. Над иным ее сердце долго думало, над иным Лера плакала ночами, чувствуя, как начинает постепенно разрушаться ее уютный мир сердечных привычек.

Далее не была забыта музыка. Лера поступала в музыкальное училище с настоящей любовью к той, но, увы, немного охладела за годы учебы, привыкнув воспринимать музыкальную ткань прежде всего профессиональным ухом. Бамбино применил здесь тот же метод, находя оставшееся за рамками программы, принося кассеты Лере и прослушивая их вместе с ней. Перед тем он сердечно просил Леру забыть свою науку и слушать дилетантским ухом, а вообще перед слушанием рассказывал немного о духе жизни композитора и самой его эпохи, немного, но искренне, взволнованно: о голодном Шуберте, писавшем песни на линейках, расчерченных карандашом на крышке стола, за неимением бумаги, о Бетховене, игравшем «Фантазию» и фугу Баха в воскресной церкви с пораненной рукой, так что весь мануал органа оказался залит кровью после той игры, о Рахманинове, спалившем себя, свое лицо и тело, на своем яростном внутреннем огне. Музыку они слушали вместе, при неярком свете, с чуткой сосредоточенностью, окунаясь полностью в ее могучую стихию.

Откуда, кстати, в самом Бамбино взялась эта начитанность и наслушанность?

— Что же, — отвечал он Лере с улыбкой в ответ на этот вопрос, — я должен знать все по долгу службы.

9

Бамбино вывел Леру из ее замкнутого мира, проводя по ночным барам и притонам, знакомя с их завсегдатаями, так что ужас, горесть и сострадание начали наполнять ее сердце.

— Не отделяйся от них, миленькая моя, — говорил он ей, — не думай, что ты не можешь испытывать их чувства.

10

В одном из баров, по которым они ходили, звучал шансон Патрисии Каас, и Лера с ужасом и отвращением отозвалась о Каас: вот пошлятина. Бамбино задумался над ее словами. Через день он пришел к ней с нотами и спросил: сможет ли она сыграть их? Лера легко разобрала ноты.

— Это романс, — сказал Бамбино, улыбаясь, — Я хотел бы спеть его для тебя, не могла бы ты аккомпанировать мне?

Лера согласилась с радостным удивлением: он еще никогда не пел.

Слова, которые он запел, были французскими (Лера немного понимала французский): простые, несколько наивные слова. Но его голос, грудной, выразительный, тревожащий,

воплотивший чувство певицы, взволновал Леру сразу. Это был простой рассказ, жалоба нелюбимой женщины, и боже мой, как все-таки много было в нем и в этом голосе!

*Fatiguee d'attendre
De toi de mots tendres
Que tu ne diras pas etc³.*

Лера кусала нижнюю губу во время игры и, сыграв последние аккорды, поставила руки на клавиатуру и положила лицо в ладони, борясь с наступившим волнением, почти со слезами. Да, впрочем, и слезы скоро набежали.

— Это Каас, Лера, — сказал Бамбино тихо, — я только передал ее низкий голос и его выражение. Это тоже человек, могущий страдать и быть чутким. За коростой всего вульгарного, что режет твое тонкое ухо, у нее такое же сердце, как и у нас с тобой.

11

Кристиан, это ранимое, кроткое и маленькое создание, был, возможно, самой образованной пчелкой: он был воспитан на откровениях немецкой романтики. По-русски он заговорил уже через полгода своего пребывания в России правильно и без акцента (а русский, согласитесь, чертовски сложный язык).

Бамбино скоро нашел верную пищу для его быстро впитывающего ума: богословские, теософские и эзотерические тексты. Он провел его тем же путем, которым сам проходил однажды. То, что девушки понимали через собственные чувства, Фазиль — через жизненные примеры, в Кристиана проникало через книгу. Они говорили много о каждом тексте, и, когда Кристиан восклицал на своем чрезмерно правильном русском: «Я не понимал этого сравнения и удивляюсь, как вы можете объяснить его, хотя так мало читали о нем!», — Бамбино отвечал с улыбкой:

— Потому что я-то прожил это, Кристиан, и понимаю, почему он так пишет.

12

Однако Бамбино и много смеялся над христианской преувеличенной ученостью.

— Милый мой человек ученый, — говорил он, — кому нужны твои мудрости, если мне от них не жарко?

И, как в насмешку, читал ему стихи современных поэтов с претензией, все с тонкими изысками и все невкусные, как рыба кость, а то, еще пуще, какую-нибудь филологическую работу вроде «Изучение лексем-номинаций эмоций в лирике Бориса Пастернака» — и тот в отчаянии только затыкал уши.

13

Фазиль заслужил упрек в неучености. Бамбино объявил ему один раз — вновь по лукавому огоньку в его глазах нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно, — что таким, какой он сейчас, только детей пугать. Бамбино пришла забавная мысль в голову: привить *дикому горцу* понимание классической европейской музыки, и он, смеясь, стал

³ Устала ждать
твоих нежных слов,
которые ты не скажешь.

кормить Фазиля кассетами, которые брал у Леры (впрочем, он и сам их слушал с удовольствием: для тех, что подумали, будто Бамбино решил устроить экзекуцию).

— Вот еще! — буркнул тот первый раз угрюмо.

— Это те же цветы, — ответил на это Бамбино очень просто.

По вечерам, умей вы видеть через стены, удивительную картину вам пришлось бы наблюдать: кавказец сел на краешек кровати, подогнув ноги, скрестил пальцы и впитывал в себя «Образа» Равеля.

Впрочем, шутки шутками, но Фазиль стал гораздо задумчивее, вопреки бесхитростной порывистости кавказцев, и, если можно так сказать, мудрее сердцем: он стал слушать (и других людей тоже) внимательней и глубже.

Один раз Бамбино подарил ему рахманиновский «Третий концерт» с Фредом Кэмпфом за фортепьяно (те, кто помнят десятый конкурс Чайковского, помнят и этого пианиста, и его «Третий концерт», отличившийся своей сердечной страстностью на фоне сытого спокойствия того же концерта, сыгранного нашими виртуозами). Фазиль появился перед ним на другой день и распаковал из сумки тяжелую, очень большую белую бурку, которую положил перед ним как дар.

— Мое сердце разрывалось, — сказал он серьезно. — Если желаешь, учитель, то прими эту одежду как подарок.

— Рано, мой миленький, — ответил ему Бамбино. — Будет время — и тогда буду достоин ее носить.

14

Горцы — натуры пылкие, и о любви у Фазиля с его учителем разговор зашел естественным образом.

— Милый друг, — говорил Бамбино мягко, — все стоит на любви, и это самое лучшее чувство, которое только я знаю. Зачем же, любя девушку (вообще же, я бы сказал, человека, а не девушку), ты хочешь эту любовь смешивать с обидами, подозрением, унижениями, собственничеством и дальше и дальше, то есть всеми теми прибавками, которые настоящей любви идут так же мало, как оленю ослиные уши? Много ли пользы лучшего друга запереть в консервной банке?

— Э-э-э, как человека мне мало! — возразил упрямый и горячий Фазиль. Бамбино поднялся с улыбкой.

— Alors, allons-nous a un bordel, — сказал он. Так, похоже, звучало то, что Фазиль старательно и неумело старался мне воспроизвести.

В пятницу была как раз студенческая танцулька — Бамбино направил своего ученика прямехонько туда, где познакомил с уже известной нам Риточкой, глупым и очаровательным ребенком, живописав Фазиля в самых колоритных тонах и выразив светлую надежду на то, что оба они скоро подружатся. Оба приняли это доброе желание к руководству; Фазиль был очарован совершенно наивно-откровенным женским существом и первыми близкими прикосновениями. Они пили (за деньги Фазиля, конечно) дорогое вино, и вино тоже оказало свое чудесное действие. Все соседи Риточки по общежитию, как нарочно, уехали на выходные — право, было бы грех не зайти погостить у нее часочек, ведь так? — и, как говорил Бамбино, и дальше, и дальше...

В шесть утра Фазиль отворил дверь общежитской комнаты и вышел, пошатываясь, голова его звенела, как лампочка, и вообще было ему немножко хреново. Бамбино сидел в коридоре на подоконнике и читал книжку.

— Ну что же, как человека тебе мало? — спросил он с любопытством, оторвавшись.

По дороге Бамбино говорил Фазилю:

— Слово «грех» зря придумано, друг дорогой: ты, как и всякий, совершенно свободен и можешь выбирать, что захочешь. Полно, Фазиль: было ли это, вот так механически, пьяно, таким уж большим удовольствием?

И, вдруг зайдя в подъезд кирпичной пятиэтажки по дороге, сев на подоконник на лестничном пролете, приложив палец к губам и поражая и повергая в ужас Фазилия своей откровенностью, он тихо, ясно и просто рассказал ему о своей близости с девушкой, с Лолой. О том, как та пыталась вначале его разгорячить, как делала обычно, но он оставался холодным. О том, что, когда она замерла, заплаканная, в обиде и отчаянии, он сам приник к ней, с сердечной нежностью, с благоговейным трепетом, с желанием сделать все для нее, и это соединение было прекрасным, но не бездумное влечение, — настолько прекрасным, что именно через него открылся тот источник нежности, из-за которого она на следующий день и дальше не пожелала, не смогла расстаться с ним и этим источником.

Фазиль немедленно попрощался с ним и вышел в ужасе: мир шатался под его ногами.

— Ты прав, учитель, — сказал он Бамбино на следующий день.

15

С Кристианом было еще проще. Бамбино вошел к нему как-то (Кристиан жил в семье и имел отдельную комнату), а тот читал «Садовника» Тагора. Необычайная вещь! Стихи эти манят далекой тоской, какой-то дымчатой нежностью окутывают вас, и зовут, и туманят воображение мыслью о дальней любимой.

Тагора очень любил Бамбино и давал однажды читать Фазилю с намерением ласковостью этих стихов размягчить горскую неприступность, но здесь было иное: нечего и говорить, что пылкий вьюноша успел экзальтироваться вовсе. Я пишу без шуток: индийское солнце и впрямь напекло его голову: как в чаду лежал он в чухлом кресле, горячая истома обволокла его целиком; яркие, осязаемые, чувственные картины проходили перед его глазами.

Бамбино пристально взгляделся в название книги и вдруг почти разгневался.

— Выброси эту книжку в окно! — сказал он сурово. — Я знаю другую историю. — Огляделся и взял с полки Достоевского. Поставил стул перед испуганным Кристианом, сел на него верхом, открыл книгу, ему попала «Кроткая», и начал читать — без какой-нибудь взволнованности, с равнодушной дикцией, чеканя слова, чтобы немец мог понимать. Кристиан обмер перед ним вначале, как мышь, затем волей-неволей был вынужден слушать, затем уже и не помнил ничего больше...

«Опоздал... — выдохнул наконец Бамбино устало и продолжал, будто скучая дальше. — Какая она тоненькая в гробу, как заострился носик! Ресницы лежат стрелками...» — о, он верно рассчитал, Достоевский прожигает до костей! Взглянул на него небрежно первый раз — и Кристиан уже не мог сдерживаться: он сжался в уголке кресла и начал всхлипывать. Тогда Бамбино отложил книгу и спросил его устало, значительно и грустно:

— Не хочешь ли еще помечтать о ласках девушки, о ее волнующем языке, грудях и бедрах, Кристиан? Вот она лежит, и одна «горстка крови» на камне.

Правда, конечно, что немедленно он сам смягчился, взяв руку рыдающего мальчика, но тогда он спросил так. Плоть да не затмит Человека.

16

Этой простенькой историей завершается «Сеятель».

Лера сопровождала как-то нашего друга — опаздывая в университет по делу, они решили срезать через двор — и во дворе он увидел собаку, дворняжку с примесью колли, она несчастно лежала, уткнув тонкую морду в лапы. «Дружо-очек», — произнес Бамбино певуче и присел на корточки рядом с ней. Собака подняла мордочку. «Давай-ка мы тебя расчешем», — говорил он приветливо, глядя вдоль ее морду. «У тебя есть расческа, Лера?».

Лера поколебалась минутку: все же она была домашняя девушка и свято берегла милые домашние пустяки. Он взглянул на нее так, что ей стало стыдно: Лера достала тут же свой деревянный гребешок. Бамбино принялся расчесывать собаке свалявшуюся шерсть, а сам послал Леру за булкой. «Только свежей, — попросил он, — а то она и вообще есть ее не захочет». Никакие опоздания, ничто в мире, казалось, его теперь не беспокоило.

Лера вернулась с булкой — Боже, с какой стремительной жадностью перехватил ее зубами зверь! Собачий клык случайно, но чувствительно оцарапал ей руку; Лера вскрикнула. Бамбино залечил царапину простым и тихим горячим поглаживанием (сходный случай описан, кстати, в купринской «Олесе», и потому не держите меня за фантаста). «Без боли не бывает здесь, миленькая моя», — проговорил он тихо.

— Валерочка, забыть я не могу ту собаку! — призналась она ему на следующий день. — Мне теперь жалко... всех мне жалко, у меня страшная тоска в сердце!..

— Это прививка, Лера, — сказал Бамбино, с грустью улыбаясь.

— Какая прививка?

— В Бенгалии от укусов змей детей легко царапают змеиным зубом. Помнишь ты нашу дворняжку? Это Сострадание тебя поранило, Лерочка; мне не залечить эту ранку, — и прижал ее к груди. — Не плачь: счастлив, кого ранит Сострадание, Лера.

III. Садовник

В этой главе немного рассказано о содержании *вести* Бамбино, его взгляде на жизнь, его «учении», если кто-то непременно хочет определять это как учение. В нем нет ничего не известного раньше, и я уверен, что Бамбино, милому простому Бамбино, было важно не провозгласить какое-либо учение, а только научить человека жить в согласии со своим духом и внутренней правдой. Я помещаю эту главу, несмотря на то, что она может вызвать недоумение и неприятие ортодоксальных доктринеров.

1

Бамбино решил свести, наконец, всех своих пчелок вместе. Он пригласил их к себе домой, на чай, в отсутствие родителей.

Увы, знакомства не получилось, не получилось и разговора. Все держались обособленно: Кристиан и Лера — из испуга и скромности, Лола и Фазиль — из гордости. Лола, кроме того, приревновала Бамбино к Лере и ко всем остальным (хотя потом и была им жестоко пристыжена). Это была одна из немногих неудач Бамбино.

Тогда Бамбино сделался болен.

Как это случилось? Бамбино рассказывал потом: он подумал с глубокой грустью, что заболит, если его друзья не будут дружны между собой. Возможно, он и сам захотел забо-

леть. И заболел действительно. Вечером он почувствовал недомогание, а утром объявилась температура.

Девушки появились первыми, сначала одна, потом другая. И Лера, и Лола приходили к нему домой, но по отдельности, и родители были убеждены, что это его «девушки» в общепринятом смысле, с которыми он «крутит любовь» одновременно, потому они порядком переполошились, когда обе встретились в его комнате. Конечно, Лола могла бы наговорить грубостей в другое время, но общая забота сблизилась их: они попеременно дежурили у кровати, сменяли Бамбино холодные компрессы на голове и уже стали общаться друг с другом совершенно коротко и задушевно.

Тогда Бамбино со стоном произнес, что он хотел бы видеть остальных, потому что состояние его все ухудшается и... Девушки, всполошившись, стали узнавать их телефоны. Телефонов не было. Лера вызвалась съездить за Кристианом и Фазилом.

— Нет, — сказал Бамбино слабым голосом, — это должна сделать Лола.

Когда все четверо сидели перед его постелью, взявшись за руки (это тоже было одним из условий), Бамбино выздоровел в течение получаса. Потом Бамбино скажет каждому:

— Я попросил мою Любимую заболеть на это время, я ни о чем не беспокоился и знал, что эта болезнь пройдет, как только пройдет ее причина. Но, честное слово, лежать вот так пластом с 39-ю градусами было совсем не так уж приятно!

2

Они собирались у Бамбино все вместе, садились на полу в его тихой комнатке на истертый коврик и говорили — говорил, то есть, больше он, с лукавой улыбкой оглядывая всех, своим чудным негромким голосом. Иногда Лера читала им что-нибудь, по его выбору — сам Бамбино в это время садился у ее ног и, охватив колено руками, закрывал глаза, слушая. Иногда они просто пили чай, и сидеть вот так пить чай вместе тоже было глубоким переживанием.

Они могли, впрочем, собираться так где угодно — еще, благо, стояли теплые деньки, — за его техникумом была роща, и там они порой сидели так же.

Густой ковер из листьев постилался им, и однажды, садясь, Бамбино обнаружил через листья пробивающийся хрупкий стебелек: неведомо как сюда заброшенный альпийский колокольчик, внезапно, безнадежно-трогательно и чудесно здесь расцветший.

— Смотрите, — сказал он, легонько к тому прикоснувшись, — разве не чудо? Это Кампанула альпика, а по-русски — альпийский колокольчик. Наверно, наша земля много суровей его Швейцарии или Италии, откуда он родом, но ему не захотелось спать сладко у себя — он прилетел сюда. На эту большую, холодную землю. И он цветет. Смотрите, каким тысячам опасностей подвергается этот маленький цветочек! Собака может прижать его лапой, здесь полно собак; пыльный ветер может его погубить, сорока выкопать своими любопытными лапами, вырвать мальчишка. Он же ни о чем об этом не думает, он тянет свою чашечку к солнышку и счастлив, как может быть счастлив альпийский колокольчик. Ему лучше расцвести сейчас хоть на несколько дней, чем десять лет пролежать зерном, и совсем его не беспокоит, что он распустился не вовремя и холодные времена скоро настанут. Вы запомнили? Он скоро, может быть, склонит головку, так что за беда? — и он цветет, ничуть не беспокоясь. Смотрите, колокольчик знает больше вас: он знает, что этот опыт сохранится и в следующий раз он расцветет лучше прежнего, а если его выкопает сорока, он возродится бойкой сорокой с черно-белым опереньем и блестящими глазами. Так везде бывает в природе. Смерти нет. Может быть, его сорвет юноша и

подарит девушке — разве мог бы этот колокольчик закончить лучше? Если вы не можете себя подарить другим — разве нужны вам все ваши одежды, друзья мои?

И еще — знаете, что вам скажу? Я читал: высоко в горах, на лютном холоде, не могут выжить никакие растения, кроме Кампанула альпика: за ночь они промерзают насквозь, а утром распускаются, радуясь солнцу. Никаких других красок там нет: хвастливые маки или какие-нибудь томные ирисы погибли бы там давно — только эти скромные цветочки небесного цвета. Так и вам, друзья мои, самые холодные времена даст пережить не толстая шкура, а только нежное и чистое сердце. Между прочим, любой колокольчик несет весть, даже простой бубенчик на тройке. Понимаете меня?

Он сидел, по своему обыкновению согнув одну ногу и положив вытянутую руку на нее, — синичка безбоязненно села к нему на пальцы и сказала что-то. Бамбино, улыбаясь, перевел:

— Она рада знакомству.

Бамбино понимал язык зверей и птиц и мог разговаривать с ними, это случилось после того, как он доел кусочек за своей кошкой и звериная слюна попала ему на язык — так, по крайней мере, он утверждал сам.

Синичка сказала еще что-то.

— Скажи, — спросил он, — тебе, пожалуй, тяжело живется? — и с улыбкой перевел ответ: — Правда и то, что хлопотно, а вообще думать об этом не приходится. Самое главное, ее жизнь полна, и потому она счастлива.

Синичка вспорхнула и улетела, он проследил ее взглядом.

— И вы будьте так же, — сказал он, будто про себя, — прощайтесь легко и летите дальше. Вы не хуже птиц: у вас есть крылья. — И повернулся к ним.

Лола, не удержавшись, в восхищении первая громко захлопала в ладоши.

— Ландыши ведь тоже — майские колокольчики, разве нет? — спросила с улыбкой, намекая на его запах.

— Вот еще, — пробормотал Бамбино растерянно. Он был сильно смущен.

3

— Учитель, ты говоришь прекрасно, я не понимаю, почему ты не стремишься говорить многим, ты мог бы выступить перед народом! — сказал ему Фазиль.

— Я был бы очень счастлив, если бы вы начали, возможно, публичные лекции, а также вы могли бы, к примеру, проповедовать в нашей церкви, хотя я плохо представляю себе: наше начальство... — говорил также и Кристиан (он ходил здесь в церковь евангелистов).

В ответ на это Бамбино пришел на следующую встречу с табличкой на шее: «Лифт пассажирский. Максимальная нагрузка 4 человека».

После он говорил и Кристиану, и Лере:

— Те современные проповедники, что пишут книги или проповедуют в больших залах, они сеют семена. А моя задача — не посеять, а вырастить, это немножко сложнее. Я должен быть с каждым разным, я должен знать все, что от меня потребуется, я должен уметь взрастить любое растение. Это нельзя делать промышленным способом.

4

Кристиан был протестантом, евангелистом, Фазиль — мусульманином, Лера — православной христианкой, Лола — атеисткой (или язычницей?). Лоле было здесь проще

всех. Ее не убеждали слова, ей нужно было вещественное, из плоти и крови, представление высшего существа, и в Бамбино она находила такое представление (пусть читатель не примет это за дерзкое богохульство). Когда Лера в доверительной беседе с Бамбино с опаской отозвалась об этом и сказала то же, что наверняка зреет и у многих читателей на языке, именно то, что это может приблизиться к кумиротворению и что Библия предупреждает не создавать себе кумира, он почему-то приложил палец к губам и после тихо ответил ей:

— Когда ты получаешь от любимого письмо, кого ты будешь благодарить больше: его самого, почтальона или бумагу, на которой оно написано? Но ведь даже бумага у тебя в сердце свяжется с ним, и ты будешь благодарна и тетрадному листочку, просто потому, что на нем стоят драгоценные слова. Поверь мне, Лерочка, как только любовь к Любимому превращается в обожание бумаги, я замечаю это и останавливаю в тот же час.

Бамбино, шутя, говорил, что он любит Лолу чуть больше всех прочих из-за того, что она единственная не делит себя между ним и церковью.

— Нет, нет, — спохватившись, добавлял он, — конечно же, каждому из вас нужна ваша вера, и каждый из вас верит так, как для него будет самым лучшим. Честное слово, — лукаво продолжал Бамбино, — я не представляю себе Леру в мечети или Фазилья, распеваящим псалмы, и не думаю, что вам обоим это пошло бы на пользу.

5

Собрав однажды всех вместе, Бамбино говорил:

— Мои милые друзья, каждый из вас верит по-своему, и я никогда не хотел бы вмешаться в ваш способ смотреть на Бога. Но вы ведь знаете и о том, что каждая религия в своем сердце содержит чистое, правдивое и хорошее. Мне хотелось бы вам предложить — только предложить: если вам кажется это блажью, то забудьте мою глупую блажь, — мне хотелось бы предложить вам взглянуть на Бога глазами иной веры. Я был бы очень рад, — продолжил он дальше с мягкой улыбкой, — если бы Кристиан посетил мечеть, Фазиль — церковь христиан веры евангельской, Лола — православный храм, а Лерочка на время стала бы атеисткой. Я знаю, для вас это будет очень сложно, может быть, это самое тяжелое, чему я вас подвергаю. Но, мои миленькие, мне кажется все-таки, это будет очень важным уроком для вас.

Кристиан отправился в мечеть вместе с Бамбино. Дело здесь отнюдь не обошлось одним посещением. Бамбино сам ввел его в некоторые основные священные понятия ислама. Он дал Кристиану Коран, строго обязав читать и размышлять над ним. Более того: совершать пятикратный намаз. Более того: глядеть на мир, на девушек, на людей, совершенно иными глазами — глазами правоверного мусульманина. Бамбино и сам вдруг несколько переменялся в отношении к нему, явив теперь в разговорах строгость и какую-то отрешенную восторженность.

Воображение и мечтательность Кристиана, вначале сопротивляясь, скоро сдались под натиском этой богатой и яркой культуры. Он из всех четверых перенес прививку, вероятно, легче всех: теперь он ходил по городу с каменным лицом и героическим сердцем. Впрочем, ислам действительно привил Кристиану то, что не получалось привить никому: подлинное мужество, настоящее самоотвержение и мужественное равнодушие к условиям быта.

Храм евангелистов с Фазилем они также посетили вместе. В другом случае Фазиль, как он признавался после, все бы принял с отвращением и ушел бы через четверть часа, но то, что его учитель находился рядом, смотрел на проповедника ясными, ободряющи-

ми глазами, пел вместе со всеми, сподвигло и его самого исполнять эти совершенно диковинные обряды.

Здесь все было совсем не так, совсем не похоже: эта абсолютная свобода, это совершенное отсутствие нужной строгости, эта девическая чрезмерно сладкая, чрезмерно нежная атмосфера, это «Бог есть любовь», которое висело большим плакатом, эта беззастенчивость в открытии своего сердца на общей молитве, когда каждый по очереди произносит то, что думает, и в то время, когда чувствует, что его пора говорить! Для многих евангелистов это все — уже привычные обряды, но свежему глазу Фазиля это показалось так. И этому глазу было тяжело. Фазиль ушел домой, мотая и трясая головой, и вновь не показывался несколько дней.

— Я думал, что Бог — в первую очередь закон, учитель, — говорил он затем серьезно, без возмущения вновь открытым, но тяжело размышляя. — Теперь я должен узнать, что Бог, оказывается, есть любовь. Это очень удивительно и ново для меня.

— Да, мой миленький, — ответил ему Бамбино, улыбаясь. — И этот сам закон — для жизни Любви, а не Любовь — для исполнения закона.

Лола отозвалась неприязненно и холодно о православных священниках. «Я видела одного батюшку на «Мерседесе», с моей знакомой», — сказала она.

— Моя славная, но ведь в каждой семье не без урода! — воскликнул Бамбино. — Если одни батюшки ездят на «Мерседесах», то другие-то должны быть лучше.

И, когда он рассказал ей о жизни Серафима Саровского, Лола пошла с ним на службу, примиренная и растроганная.

Перед храмом Бамбино горячо попросил ее попытаться разбирать старославянские слова и пережить их, почуять сердцем, чтобы не стоять и не мучаться бесполезно, скучая. При этом он сделал вновь уже известную странную вещь: он смочил кончики пальцев слюной и коснулся ее ушей, смотря ей в глаза. Начало службы он тихо шептал ей церковнославянские слова: еще раз, более отчетливо.

И опять суровая холодная вознесенность, ладан, и негромкое сокровенное пение, и тихие слова, непростые слова, которые стали проникать в ее уши. Это все, и атмосфера кругом, и его голос, и его чуткое волнение передалось ей в один момент. «Спасибо, — сказала она наконец Бамбино, взволнованная, — спасибо, солнышко мое: я уже разбираю». *Блестаясь во гробе ангел мироносицам вещаще: видите вы гроб, и уразумейте: Спас бо воскрес от гроба...* Древний текст Литургии Иоанна Златоуста произвел на девушку-дикарку, против ожидания, очень волнующее впечатление. Выйдя из церкви, она заплакала: не навзрыд, не всхлипываниями, но как-то необычно тихо, светло и спокойно. Бамбино довел ее до березки и попросил обнять ее.

Так, стоя, Лола чувствовала вытекающие слезы, и с ними очень много нечистого и нехорошего, что так долго таилось в ней. Когда глаза ее высохли, она, сняв варежку, взяла его руку и попросила самого глубокого, самого чистого прощения за все, что она могла причинить и еще нечаянно причинит.

Бамбино спросил у Леры о том, как она представляет себе бога. То, чего он добился в конце концов, звучало примерно так: это Высшее, Всемудрое и Всеблагое существо, не имеющее вида или плоти, которое находится как бы «по ту сторону» нашего мира и управляет жизнью всех живущих людей.

— Да, — сказал Бамбино, — это все называют словом «бог». Большинство людей. Кхм... Бога нет.

— Полно, Валерочка, ты шутишь, как это часто бывает, — рассмеялась она.

— Нет же, совсем нет. Зачем мне шутить? Если бы он был, как он допускал такое количество несправедливостей, которые творятся каждый день?

— Ты же говорил мне сам: Создатель не хочет заставлять человека и позволяет творить ему все бесчинства, — ответила Лера, обеспокоившись.

— Создатель умер после того, как создал мир, — возразил Бамбино без шутки. — И вообще он был пьян, когда создавал этот дурацкий, перекошенный мир. Твоей жизнью никто не управляет. Если, сделав дрянную вещь, ты получаешь от мира наказание, это потому, что ты сам через свою кражу стал жаднее, глупее и беспомощней перед его сложными течениями. Бог здесь ни при чем. Если же этот бог настолько бессилен, это то же самое, что его не существует.

И дальше он, с ясными и искренними глазами, наговорил Лере целый ворох ужасающих, страшных вещей. «Ты шутишь, Валера, ты шутишь, да?», — спрашивала она его все взволнованней. «Нет же, нет», — отвечал он каждый раз невинно и спокойно.

Всего, что было сказано, я не буду передавать: то, что было применено как антибиотик в одном-единственном случае и с большой осторожностью, для других может стать ядом опасного смущения ума. Лере пришлось тяжелей всего. На следующий день она слегла с болезнью от нервного возбуждения. Бамбино пришел ее навестить и, ласково ухаживая, сказал еще пару слов, которые привели ее в еще большее волнение, но как будто давали ключ к ее мучительным, раздирающим мыслям.

— Бога нет, — сказал он, — но есть много богов.

Я колебался, оставить ли мне и эти слова, но все же надеюсь, что читатель отнесется к ним с пониманием и размышлением. Не моя вина, если кому-то они не принесут равным счетом ничего, кроме желания обвинить в язычестве.

— Я поняла, мой миленький, — сказала она ему на третий день, — улыбаясь ясно, хотя еще очень слабым голосом. — Он не по ту сторону. Он во всем. Он все. Он растворился. Потому Его нет. Правда?

— Верно, Лера, моя умничка, именно это я тебе и говорил, — ответил ей Бамбино, улыбаясь так же. — И ты Его частичка.

6

И еще о том, что касается цветов. Бамбино любил сажать цветы. Какие? Самые разные! Все, пакетики семян которых он мог купить в магазине «Семена», он и сажал. Кто-то постоянно носит с собой записную книжку, кто-то калькулятор, кто-то диктофон, кто-то пистолет. Бамбино часто носил с собой садовую лопаточку.

Проходя в городе мимо клумбы или просто мимо приглянувшегося ему кусочка земли, он останавливался и рыхлил ее и затем высаживал семена. Предварительно он держал семена, крошечные цветочные семена, во рту и умудрялся при этом не проглотить их.

— Зачем ты это делаешь? — спросила его однажды Лера. Последовавшие слова показали ей настолько удивительны, что она запомнила их в точности.

— Я роняю семена в землю, — ответил он. — Я хочу посеять будущее. Я напитываю землю моими стремлениями. Землю — и будущий воздух тоже. В каждый цветок входит живая душа. Я даю ей мое стремление. Оно взойдет цветком.

— Может быть, лучше выращивать их рассадой?

— Выращивать рассаду в моем питомнике, в моей теплой комнатке? — засмеялся Бамбино. — Они будут нежизнеспособны. И сколько хлопот с пересадкой! И потом, появившуюся невесть откуда молодую зеленую поросль легко примут за сорняк. Дикий же цветок растет неприметно. Кто хочет, тот взойдет.

— Но ведь земля не очень хорошая для них, и климат тоже плохой!

— Погода, — поправил ее Бамбино. — Климат не бывает плохим, только погода. Да, земля плоха, и погода не всегда хорошая, и поэтому половина останется в земле. Но даже у пшеничного колоска около тридцати семян, а у цветка их тысячи.

— Но если все они погибнут?

— Они и должны погибнуть. Семя должно погибнуть, перестать быть само по себе, чтобы родился цветок. Так же и человек должен перестать быть для самого себя.

— Чтобы родился цветок? — спросила Лера, улыбаясь.

— Да! — подтвердил Бамбино. — Ведь цветок своим ароматом привлекает пчел.

— Значит мы — твои пчелки? — спросила она дальше, смеясь.

— Да, — сказал Бамбино с напускной важностью. — Ты моя трудолюбивая пчелка, Кристиан — мотылек, Лола — оса, а Фазиль — мой усатый жмел.

Просмеявшись вместе с ней, он добавил:

— Я скажу тебе еще одну очень важную вещь, Лера. Запомни ее: только если человек станет цветком, он может стать Садовником.

Решение

Эту короткую часть я посвящаю, как и обещал, причинам рождения и скоропостижной смерти Бамбино.

Шестого января, в канун Рождества, друзья собрались у Бамбино. Разговор был посвящен теме долга, если выражаться школьным языком. Бамбино мягко говорил Лере, (м)учившейся на двух факультетах сразу, более на втором, фортепьяно и теории музыки, о том, что мучения ее совершенно напрасны, заодно отвечая Кристиану, стенающему от внешних условий жизни и невозможности посвятить себя полностью духовному пути:

— Дорогие мои друзья, не существует духовных и мирских путей. Все, что вы встречаете в своей жизни — все вам послано от Господа Бога с какой-то целью. Все люди — актеры, что исполняют для вас его задумку, не зная об этом. Вы же должны слушать не людей, не мирское мнение, а то, что Господь Бог хочет вам сказать через них. Так, я думаю, что через Лерочкину невеселую жизнь он как раз хочет, чтобы наша Лера проявила больше мужества и ушла со своей труппологии музыки. Ведь мужество, как и нежность, тоже очень важное качество.

— Но мне кажется, — вздохнул здесь Кристиан, — но мне кажется, что в Евангелии сказано об этом: нужно платить и богу, и кесарю, то есть внешнему миру так же.

Бамбино задумался ненадолго, и лицо его прояснилось ясной улыбкой.

— Я за вас уже заплатил, — сказал он, легко рассмеявшись. Когда все подняли на него недоуменные и веселые глаза, он пояснил: — Вот посмотрите, сравнение из области бухгалтерии, Кристиану, как практичному немецкому товарищу, должно очень понравиться. У каждого человека в его душе приход и расход: в приход идут добрые дела, а в расход — дурные, это его долги. Если в расход поступила какая-то сумма, нужно ее погасить через приход, сделав доброе дело. Причем здесь есть такая финансовая тонкость, что погасить эту сумму можно только в этой же валюте, в какой был сделан долг. Другими словами, каждое дурное дело нужно искупить добрым такого же свойства. Понимаете, да? Но если на вашем счету большая сумма, вы можете заплатить за другого.

Все притихли, думая о ранее сказанных словах.

— Как это происходит? — спросила Лера тихонько.

— Вы обращаетесь с молитвой к Богу, — ответил Бамбино, — и просите его, абсолютно искренне, взять часть долга другого человека на себя. Причем если вам самим, как и ему, нечем заплатить, вы будете страдать вместо него. А мне страдать не пришлось: мой доход высокий, а расхода нет. Помнится... мы шли с Лерой вместе по важному делу, и Лера грустила, что прогуляет занятия. Пришла — а их отменили. Вот так. Кхм... Это, однако, не повод для вас, дружочки, безбожно прогуливать лекции, кататься без билета, когда есть деньги, или воровать из магазина мороженое на десерт и...

Все расхохотались.

— За меня, наверное, много пришлось платить: я большая грешница, — сказала Лера, улыбаясь. И вдруг, потеряв улыбку, она спросила обеспокоено: — Валерочка, а другие?..

И здесь все притихли при мысли о том, что их вольная является по отношению ко всем прочим несправедливой. Бамбино тоже несколько призадумался и ответил после некоторого молчания:

— Миленькие мои, если вы желаете помочь другим так, вы не сможете этого сделать для многих. Давать нужно из избытка сердца, а не из бедности его.

Лера спросила:

— А ты, Валерочка? Ведь твой душевный запас гораздо больше нашего...

Бамбино покачал головой и с улыбкой сказал:

— Не думайте, друзья мои, что я образец совершенного человека.

— Это так, — возразила Лола твердо.

— Нет, — ответил Бамбино с той же горькой улыбкой, — нет, это все же не так. Моего душевного запаса не хватит на очень многих.

— На скольких? — спросила Лола быстро.

Бамбино опустил голову и задумался. Наконец, он поднял голову и сказал неуверенно:

— Моего запаса, дружочки, хватит на небольшой городок или деревню... не знаю...

И он обвел своих друзей глазами.

— Да, — ответил он один за всех, — да, если нечем платить, можно заплатить страданием. И я совсем не равен Тому, Кто однажды искупил весь мир от всего греха.

Лера встрепенулась.

— Я думаю, Валера, — проговорила она мучительно и почти слезно, — как много есть детей, и девушек, и юношей, гораздо лучше и талантливее меня. Почему они должны мучаться?.. — и подняла к нему взволнованные глаза.

— Не волнуйся, Лерочка, — ответил ей Бамбино горячим шепотом, — если бы я смог хотя бы для одной страны выстрадать эту свободу, я сделал бы все, чтобы заплатить этот долг.

Молчание повисло в воздухе.

— Но желаете ли вы сами, чтобы я решился на это? — спросил Бамбино звонко. И дальше прибавил странные слова, произнес их очень отчетливо: — Смотрите, я испытываю вас. Желаете ли вы сами, чтобы я решился на это?

Все, потупившись, молчали.

— Кристиан, — сказал Бамбино тихо, — возьми с полки библию и прочитай тот отрывок о Петре, тот, о котором мы давеча говорили.

Кристиан ослабевшими руками взял книгу, долго листал ее и, наконец, найдя отрывок, прочитал неверным голосом: «Тогда Петр стал говорить ему: равви, если это так, то лучше бы тебе не совершать сего. Иисус отвечал ему: Отойди от меня, искуситель. Ибо ты мыслишь о том, что божеское, но не что человеческое».

— Спасибо, Кристиан. — сказал Бамбино.

Он выдвинул ящик стола, на котором сидел, вынул из него ручку и листок бумаги и протянул Кристиану.

— Напишите каждый свое желание об этом, — попросил он.

Медленно листок отправился в свое долгое, очень долгое путешествие и вернулся назад. На нем стояли четыре «да», написанные в разных углах и печатным шрифтом, будто те, кто писали, не хотели, чтобы узнали их руку.

Лицо Бамбино разгладилось.

— Спасибо, славные мои, — проговорил он негромко и с благодарной полуулыбкой, — вы не разочаровали меня. Теперь позвольте мне подумать о том самом хотя бы одну ночь.

Во дворе одного из домов на улице Свободы стоит заброшенная железная телевышка. Она заброшена с тех пор, как построена новая, и теперь медленно ржавеет и разрушается. К ней и отправился Бамбино, все его друзья — вместе с ним, сопроводить его.

Вышка стоит на высоком, в один этаж, каменном цоколе. Бамбино был крайне легок для своего роста, а Фазиль очень силен: он посадил его так, что Бамбино смог встать ему на плечи и оттуда ступить на край каменной площадки. Далее вверх вела железная лесенка с редкими пролетами. Друзья следили за ним до тех пор, пока Бамбино не скрылся на самом верху.

Бамбино провел всю ночь, не смыкая глаз, на самой верхней площадке, той, с которой весь город с ее огнями виден, как на ладони. Никто не знает, какие мысли приходили ему там и что за искушения желали его оборотить. Рано утром все появились на том же самом месте, все, хотя никто не договаривался об этом заранее, и ждали его спуска. Когда он услышали, наконец, звон железной лесенки, когда сам Бамбино подошел, чтобы спуститься вниз с края каменной площадки, восемь рук протянулись, чтобы принять его, ему навстречу. Они бережно спустили его и отошли в стороны.

Бамбино побледнел за это время и казался очень усталым на вид.

— Тяжело, — сказал он, улыбаясь. — Не знаю, сумею ли. Но я, миленькие мои... по-пробую.

Он стоял перед ними, этот мальчик, и дрожал от холода в легкой курточке, со своими горестно-улыбающимися глазами.

— Я люблю вас, — шепнул он. И, сжав руки на груди, он опустился на колени в снег и опустил голову, продолжая сохранять всю ту же режущую сердце улыбку.

Он так и дрожал от холода. Фазиль осторожно вынул из сумки и развязал свою уже известную нам белую бурку. Подойдя, он бережно надел ее Бамбино на плечи, сказав:

— Теперь, Учитель, ты должен носить ее, думаю.

— Спасибо тебе, Фазиль, — ответил Бамбино, огляделся вокруг, затем направил снова глаза к снегу, ввел в него руки и явил на свет божий:

— Поглядите, что я нашел, — предложил он весело. Это был круг, вернее, замкнутая цепь из массивных железных пластин.

— Собачий ошейник, — сказал Фазиль.

— Да, Фазиль, — ответил Бамбино, — собачий ошейник. Должно быть, убили и съели собаку, только так можно снять такой ошейник. Знаете, какие слова есть в Евангелии от Фомы? *Как человек этот съест ягненка и насытится и войдет в город, если только не убьет его?*

— Это корона, — сказал вдруг взволнованно Кристиан. — REX.

Кристиан знал латынь.

— Верно, Кристиан, — ответил Бамбино и поднял голову, — это корона. Видите, REX выбито на пластинке? Это значит «царь» на латыни.

Лола быстро опустилась перед ним на колени и взяла венец из его рук, держа на двух ладонях. Протянув каждый к нему руки, они медленно возложили венец на голову Бамбино.

— Волосы, — прошептал тот, закрыв глаза, — спрячьте его под волосы. Длинную челку выстригу себе: никто пусть не видит...

Они выправили волосы поверх венца.

— Тяжел, — сказал Бамбино шепотом. — Колючий. То, что нужно.

Открыв глаза, он поднялся и произнес:

— Даю вам зарок, что не сниму ни на миг, пока все не случится. Спасибо, миленькие мои, спасибо вам за честь. Теперь мне дороги назад нет. Дай Боже, чтобы оказался достоин вашей чести.

Тропинка на кресты

Остальное случилось в промежуток времени, меньший месяца. Все это время Бамбино носил свой венец, шипами внутрь. Не снимал его даже ночью; Лера сшила ему подушечку, под голову.

Для чего ваш учитель ест и пьет с мытарями и блудницами?

Со своими старыми друзьями Бамбино долго не виделся, но седьмого числа вечером они позвонили ему, стосковавшись, и пригласили на одно из привычных собраний просвещенной молодежи. Отношения были возобновлены. Именно на той встрече М. спросил Бамбино с улыбкой:

— Кажется, у тебя новая девушка, Валера?

И он подробно описал внешность Лолы.

— Нет, — ответил Бамбино бесхитростно. — Нет. Это моя ученица.

И тут сам же, наверное, прикусил язычок. М., опешив, переспросил:

— Ученица? — усмехнувшись отечески, добавил: — Ну-ну... Ну-ну...

Лола именно тогда была вызывающе накрашена.

Также любят председания в синагогах.

На следующий день Бамбино пришел к своим «старшим друзьям».

— Нам нужна школа, — сказал он и изложил свою давно берегаемую мысль об Общине.

Оба приятеля скептически переглянулись: «Хорошо... а как это будет?» Бамбино начал говорить о своем видении школы. Идея увлекла их обоих — юноши были пылкие и хорошие. Признаться, «у них тоже была такая мысль...». Оба сели немедленно за стол и принялись увлеченно создавать устав. Они жарко спорили, потом снова писали... Бамбино стоял, забытый, в двери и, смотря на них, любовно-грустно улыбался. Но, впрочем, он и сам немножко взволновался, когда выяснилось, что регистрация духовной школы на базе культурно-воспитательного центра «Восхождение» при райадминистрации, воз-

можно. Поле более широкое и возможность открывалась: ведь Любимая его просила собрать всех ее рода под свои крылья!

Он же сказал на это: Истинно говорю вам, мытари и блудницы перве вас войдут в Царствие небесное.

Бамбино шел с Лолой по улице, и они увидели рекламку какой-то продвинутой вечеринки. «Нам нужны ангелы! — гласила нахальная бумажка. Он остановился. «Ах, вам нужны и ангелы? — проговорил он, смеясь. — У нас, может быть, и есть ангелы, да не про вашу честь!» Он сорвал бумажку и, аккуратно порвав, развеял по ветру. «У тебя есть губная помада?» — спросил он Лолу. Помада оказалась. Бамбино приклеил белый лист за обрывки оставшегося скотча и карандашом губной помады написал выразительно и просто имя Матери Божьей, MateR THeI, в славянском изводе: Мыслете, Рцы, Фита, Ижица. И подписал под ними: *Милая, будь благословенна.*

Случайно М. увидел тот листок (впрочем, случайностей, как известно, на свете не бывает: так, видно, должно было случиться).

— Ну, знаешь ли, Валера! — взвился он.

М. попросил Бамбино приехать к нему для важного разговора и долго говорил о том, что священные имена, при всей глубине и непосредственности религиозного чувства, не пишутся губной помадой и с такими фамильярными сопроводительными надписями. Бамбино сидел, положив руки на колени, и с улыбкой смотрел на этого странного человека. Что он мог ему сказать: что губная помада не унижает Создательницу всего на свете, и, в том числе, губной помады; что надпись о любимой как о любимой не может быть фамильярной?

Поступок сей обсуждался обоими друзьями, и долго они толковали, не по-юношески качали головами. А назавтра должен был быть урок духовной школы, в том самом «Восхождении». Докладывать должен был Валера Арсеньев.

Про себя же подумали: «Посмотрим, как он скажет!»

...

Горе вам, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе вашем: Справедливость, и Сострадание, и Веру! Это надлежало делать вначале.

— Хватит! — сказал Бамбино, когда шум улегся, и обвел общество блестящим властным взором. — Хватит! Мои дорогие друзья, мы собираемся не первый раз уже и благополучно превращаем сокровенные собрания в очень опрятные чайные посиделки. Милые, дорогие друзья! Все вы очень начитанны в священных вещах, я не смею в этом сомневаться; я видел здесь мужчину, который говорил, как четыре раза в году медитирует на солнце и четыре раза в месяц — на луну. Волки это делают реже. (Смешки раздались.) Право, это все очень, может быть, весело, только не кажется ли вам: Спаситель не учил нас такой утомительной глупости?

Друзья мои! Вы ходили ли когда-нибудь по улицам, вы смотрели ли людям в глаза? Вчера ваш славный *пробуждающийся русский народ* вытолкал беременную женщину из автобуса. Вчера я слышал, доцент за отметку о зачете склонил к постели девушку. Вам это неинтересно, дорогие мои? Вам не кажется ли, что Христос не затыкал уши?

Грустно мне думать, что наша школа стала кучкой образованных деревяшек. Вы помните ли первую Христову заповедь, ученые мои? Вы знаете ли в себе любовь, которая не помещается в бедное человеческое сердечко? Нет? Так верните продавцу обратно, плохо

они вас научили, ваши книжки!.. — И вдруг, сойдя с кафедры, он вышел в коридор, где расположился на столе книготорговец.

— Взгляните, — воскликнул он, — «Бхагавад-Гита», подарочное издание, за 150 рублей! «Новое откровение господина нашего Иисуса Христа», за 200! Курительные палочки, объекты для медитации, настенные мандалы, китайские колокольчики!.. Как дорого, господи, быть духовным человеком в наше время!

Он толкнул носком ботинка в сочленение ножек столика, и тот сложился с пылью и грохотом.

Оба наших приятеля были порядком переполошены — все же в добром смысле — тем «уроком». Алексей Мстиславович появился вечером у нашего друга. Взволнованно и тепло говорили они. В результате сошлись-таки на том, что дело не пойдет от божьих старушек и в школе будет образована «младшая группа». В заключение, с чувством пожав руку, Алексей Мстиславович заверил, что надеется, что «имеет дело с честным человеком».

Сказать важно, что М., хоть и имея отеческое снисхождение, все-таки... даже восхищался в некотором роде Валерой Арсеньевым. «Ах, Валера, Валера, с такой недалекой простотой, как ребенок, и таким талантом!..»

И приветствия в народных собраниях; и чтобы люди звали их «учитель! учитель!». А вы не называйтесь учителями.

А меж тем дело-то на этом не кончилось, некоторые бывшие на третьем уроке звонили после «инцидента» руководителю центра, Василию Петровичу, и желали увериться в том, что слушатели курсов, их дети в том числе, «более не будут сталкиваться с подобными сумасшедшими». Тот по телефону серьезно отвечал, что он непременно разберется и не допустит регистрации духовной школы при невыдержанном характере ее молодых преподавателей. Вот тогда Алексей Мстиславович уже немножко серьезно испугался и решил для совершенного выяснения поговорить с «младшей группой» (то есть с Кристианом, Лолой, Фазилем и Лерой, которые в тот раз устроили своему учителю веселую овацию при молчании всей прочей публики).

Итак, М. пришел в «младшую группу» (Бамбино не было) и осторожно заговорил: друзья — понимаете ли — может быть, все-таки — у вас, другими словами, не возникает вопроса, что — ммм, эээ... — И тут он огляделся и заметил, что ученики превесело на него смотрят и решительно не могут взять в толк, что этот юноша в полосатом пиджаке здесь делает.

— Нет, — ответила Лера за всех, улыбаясь (ох, нехорошо, нехорошо она улыбалась!), — у нас не возникает никаких вопросов.

Алексей Мстиславович встал. Как хотите, здесь определенно пахивало сектой!

Какие странные слова! кто может это слушать?

Бамбино решил сделать такую вещь: написать письмо Василию Петровичу. Оно не дошло до меня, но, как я смог все-таки установить, было спокойным и доброжелательным. Бамбино просто просил не волноваться чрезмерно и не стопорить невольно важного дела из присущей каждому человеку склонности к консерватизму. «Я искренне опасаюсь, — написал он также, примерно в следующих выражениях, — что Ваше здоровье может иначе пошатнуться и повредиться из провиденциальных причин. Вам же и самим должно быть известно, что препятствие важному для Провидения делу может быть очень опасно для человека».

Он закончил, и рука вдруг, по старой привычке — Господи, какой старой! даже память о движениях иногда сохраняется... — вывела: Franciscus Assisiensis. Кстати, ведь Бамбино не учил латынь, а вспоминались ему иногда некоторые латинские слова. Ну что же: улыбнувшись, он решил это так и оставить, только добавив: *pativus pove*.

Василий Петрович, прочитав письмо, принял его, похоже, за вежливую угрозу. Он и отдал бумажку нашим приятелям, при этом добавив несколько вздохов.

Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. Не лечит врач знающих его. И не совершил так многих чудес по неверию их.

Оба сразу узнали руку Бамбино, руку Валеры Арсеньева, латынь М. со словарем скоро перевел. Оба вначале только переглянулись и расхохотались, затем уж М. форменно вскипел, походил по комнате, поругался да и плюнул с досады.

Нашего друга вызвали для объяснений, причем Алексей Мстиславович с особенным ехидным пристрастием поинтересовался: что же, у Василия Петровича так и не защемило сердце, не прихватило печень и т. д. при противодействии делу святого Франциска? «Я не знаю, честное слово», — ответил Бамбино потерянно (я бы, впрочем, ответил, что сало — вещь нечувствительная).

Боже мой, Боже мой, почему Ты меня оставил?

«Любимая, — прошептал Бамбино в автобусе, — что же ты не дала знака для того человека? Или отнюдь не так нужно это дело, если встречаю противодействие Твое? Или я, может быть, вправду не тот, а зарвавшийся мальчишка с фантастическими бреднями в голове?»

Вернувшись домой, он собрал на балконе велосипед и вывел, не ко времени года, с колотящимся от натуги сердцем, на Московское шоссе. Грузовики шли к обочине вприпрыжку, на ревущей скорости, любой мог не заметить велосипедиста, да и поскользнуться велосипеду на зимней дороге недолго — если он и вправду оказался поддельным святым, то давно стоило! Он проехал километров семь.

«Поворачивай, — сказала Она грустно, — возвращайся и трудись, бедный мой. Не нужно мне самоубийц». «Хорошо», — шепнул Бамбино и повернул назад. Все же ужасно тяжело ему было.

Поутру же, возвращаясь в город, взалкал; И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и ничего не нашел на ней, кроме одних листьев.

Погода сошла с ума, то внезапные, жаркие и короткие оттепели, то заморозки, и солнце стало палить в эти оттепели хоть и холодно, но бессовестно и пронзительно. «Палестина, Палестина», — шептал Бамбино, шлепая по январским лужам в резиновых сапогах, — безобразная Палестина, да еще и мокрая».

Была странная закономерность в том, что, когда он находился в светлом, ясном и любящем расположении духа, холод не брал его, но во время тоски и огорчения охватывал озноб. Теперь же лишь тяжелейшая бурка Фазиля спасала его, и то не всегда, от холода. В это же время стал регулярно пропадать тонкий запах ландыша, от него исходивший.

«Встречи с преподавательским составом школы» и его «ученики», его друзья, с которыми он по-прежнему был чарующе ласков (никогда он не поддельвался, но просто стыдно было бы с его милыми хранить хмурость, и он истлевал для них, как тоненькая свечка,

снова не чувствуя холода), и весь этот утомительный вздор в его универе изматывали его совершенно — однажды он так устал, что вышел из автобуса и заснул под деревом, на оттаявшем кружочке земли вокруг.

Вы не знаете ни меня, ни Отца моего; если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего.

В эту историю включилось еще одно лицо. Лена звали ее: девушка с тяжелой черной косой и надменным итальянским видом, правда, и хороша была она этой тяжелою презрительной красотой. Она увидела Бамбино на той встрече, седьмого числа, и была увлечена, романтически восхищена его видом и теми несколькими словами, что он сказал. Она потянулась к Бамбино, но и не совсем хорошо потянулась — хоть и не как к юноше, а меж тем как идет зверь на родник, а сам его может и затоптать. Она выяснила его адрес и однажды пришла к нему домой, без церемоний, сама.

Бамбино тронуло ее участие, он видел только искреннее в том, он открыл свой родничок. Она села рядом у его стула, на колени, в послушной ученической позе — больше из озорства, из причуды, но и это его тронуло — она села и смотрела, и он начал говорить просто и удивительно.

«Я слышу мою Любимую», — сказал он так же, как говорят о самых обыденных вещах. «Какую любимую?» — не поняла та. «Спаситель говорил про нее: Отец, что он с ним един, но это же неважно, как называть...» — сказал он, улыбаясь детски. Лена задумалась и опустила голову, улыбаясь тоже. «Чудные вещи ты говоришь, — прошептала она, — чудные...»

И, конечно же, не задумалась о том проболтаться другу своему М.

«Я думаю, — сказал грустно и со вздохом, в задумчивости поглаживая свою бородку М., и еще подождал, — что Валера сошел с ума». «Я не говорю, что он сошел с ума!..» — прибавил он, спохватившись.

Не давайте святыни псам, не бросайте жемчуга вашего сердца пред ними, чтоб они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас.

Лена приходила к нему несколько раз, в слезах говорила про М., что решила «навсегда покончить с этим», что «видит насквозь этого страшного человека», «он же ничего не видит, что ты делаешь, Валера, он же не понимает тебя, он же самолюбив, ему же ничего, кроме себя, не надо!» — шептала она. И изливала ему, помимо того, всю душу, все наиболее, всю усталость и путаную грязь. Бамбино снимал ту простыми и ясными словами. Девушка эта шла, облегченная, вновь к М.: это было не двуличие, просто так скоро сменялись ее душевные состояния. Она полюбила М. сильно и привязчиво — и все же не совсем светлая была эта любовь.

Однажды нашей томной итальянке было бесконечно тоскливо — она набрала номер Бамбино. «Приходи ко мне, милый мой хороший человечек...» — протянула она горестно. Бамбино пришел, и Лена начала вновь плакаться на свою судьбу, говорить, что не допустит лжи и неискренности М. по отношению к ней, не даст поработать себя, будет хорошей, правдивой и твердой, не откажется от его, валериных слов. Не совсем убедительно это звучало, и что-то странное лежало в комнате, он не мог понять, и вдруг понял.

Канарейка! Желтая канарейка заливалась в клетке беззаботно, она пела, она рассказывала. Лена что-то продолжала говорить ему, а канарейка пела, пела о том, что ЛЕНА

ЕЩЕ УТРОМ, ОБНИМАЯ М. ЗДЕСЬ ЖЕ, ГОВОРИЛА ТОМУ В УГОДУ: «Ах Валера наш... люблю я его: дурачок он наш, блаженненький...»

«Откажись от этих встреч», — сказала Любимая. Бамбино поднялся.

— Мне лучше оставить тебя, — сказал он без гнева, но твердо. — Миленькая моя, дорогая, и тебе я советую оставить чувства, что мучают и унижают тебя, и не изменять невольно тому искреннему и лучшему, что в тебе имеется, — добавил он тихо и дальше молчал на вдруг разом посыпавшиеся возгласы, и с грустью покинул ее, и не приходил уже больше.

Не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему: Господи! к кому нам идти?

Лена рассказала об этом случае М. — просто выпалила ему в горячечном припадке. «И еще он сказал, что я должна тебя оставить!» — в горячей женской ядовитости выплеснула она.

Вмешательства в свою личную жизнь Алексей Мстиславович вынести уже не мог. Он явился к нашему другу, зная, когда тот собирает своих, и, ворвавшись вдруг, начал говорить со скромным напором торжествующей справедливости, шагая по комнате. И умно, и убедительно, и едко, — о, он, пожалуй, и речь заранее обдумал! — в два счета объяснил им, что подлинный святой не будет никому желать болей в сердце, во-первых, не будет разлучать двух любящих друг друга людей, во-вторых, в-третьих, что победить можно только единством, а не сектантскими посиделками, и что когда он, он допустил непоправимое и гибельное образование младшей группы в их школе, то был он форменным олухом, и в-четвертых же, что некоторые восторженные личности могут страдать галлюцинаторным расстройством слуха. После чего и покинул собрание, любезно простившись.

Бамбино поднял голову от колен — он сидел, охватив колени руками, на ковре и не вымолвил ни слова за это время.

— Что же, — сказал он, улыбаясь, — если хотите, вы можете идти.

Лола встала и гневно шваркнула незакрытой дверью.

— Стыдитесь!! — сказала она. — Вашего наставника ругают, а вы молчите и уши развесили, да?! Некуда нам от тебя идти, Валера, — добавила она шепотом, опустившись с ним рядом, и спрятала в его руках свое лицо в тихом плаче.

И кто хочет между вами быть первым, он станет другим рабом.

Лола пришла к Лене. «Вы не знаете его, — начала она с порога, — вы...» Лена, не дрогнув мускулом в лице, назвала ее влюбленной дурой и любезно предложила катиться к своему Валерочке.

Лоле уже глаза туманились слезами; она наговорила хлестких дерзостей немедленно. Лена спокойно залепила ей пощечину. Коротенькая пауза возникла.

О, Лола бывала уже в таких переделках! Нахальства ей тоже было не занимать стать — она захотела сейчас вцепиться в волосы и нахлестать по щекам! И вдруг случилось удивительное: Лола только низко склонилась, шепнула «Прости меня, пожалуйста» и с горячими слезами вышла. Она подумала о Бамбино, что бы он сделал на ее месте.

А у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному: «и к злодеям причтен».

Собрания просвещенной молодежи практиковались у М. на квартире, Бамбино появился однажды там с молчаливым Фазилем. «Тебе будет полезно», — сказал до того Бамбино. Речь шла о музыке. «Ну, что это такое, — говорил С., раскинувшись в кресле и зачесав пятерней волосы, — что вы со своим Рахманиновым? Шуму-то, шуму! Эффектен, батенька, эффектен, а толку-то что? Ему первые свои фокусы в голову ударили, вот что я скажу: вначале хороший был мальчик, а потом уж извините — род творческого онанизма. Это как Валера наш: вначале хороший мальчик был, а потом уж тоже туда же...», — продолжил он при общем смехе. Фазиль, и без того кислый, вдруг побагровел; вскочив на ноги. «Я тебе уши отрежу, мочалка!» — вскричал он страшно.

Все притихли. Бамбино посмотрел на него в упор, сказал ему тихонько три слова, и Фазиль, стыдясь, опустил подбородок в грудь. Потом поднял голову.

— Я прошу прощения, — обратился он к собранию, — за свою несдержанность. — И поклонился всем. — И все же я уверен, — добавил он от себя, — что о людях с огнем в сердце не должны говорить люди с мочалкой в сердце.

— Ты говорил — он композитор? — воскликнул Фазиль на лестнице. — Он... знаешь что? Ни черта ни понимает в музыке!..

Он еще что-то возбужденно говорил, но в конце концов виновато затих.

— Никогда не стоит обнажать оружие, Фазиль, даже на словах, кроме как для справедливой защиты, — произнес тогда Бамбино. — Теперь мне нужно будет чем-нибудь заплатить за твою пылкость, мой миленький.

Это для того, чтобы на нем явились дела божьи.

Бамбино ехал в трамвае, и вся скудость, вся мелочность его милых бывших друзей на него навалилась. «Господи, зачем же все это творится!» — воскликнул он мысленно.

«Чтобы видел, что может быть с самым лучшим, — сказала ему Любимая, — это все уроки для тебя, бедненький мой». «Живыми людьми делаются Твои уроки. Дорого же ты платишь за мое образование, Родная моя!» — прошептал он горько. Она не ответила.

Увидев это, он прослезился.

Бамбино увидел двух дерущихся старух — внутри ему как кипятком облило. Бегом он взлетел на свой этаж. «МИЛАЯ, — вырвалось из него слезное, — ЧТО Ж ТЫ ТВОРИШЬ! Почему со своими я несокрушим и светел, а один остаюсь, как дрожащая собачка?..» — «Так для твоего дела, милый мой, — ответила Она ласково и грустно, — и первого довольно».

Я емь пастырь добрый; пастырь добрый полагает жизнь свою за овец; а наемник, которому овцы не свои, видит проходящего волка и оставляет овец и бежит.

Чаша терпения Алексея Мстиславовича переполнилась. Подвергать своих друзей злым нападкам и угрозам разнузданных сектантов он был не намерен. М. позвонил нашему другу поздно вечером и заявил, что появится на очередном, как он выразился, «сборе младшей группы». Тот заверил его, что приходит ему вовсе нет нужды. «Да нет уж, я приду, мой дорогой!» — пообещал тот и повесил трубку.

Бамбино положил в свою очередь трубку и глубоко задумался.

М. расскажет о выпаде Фазиля, явив его, не нарочно, а по естественной склонности преувеличить в деле отстаивания справедливости, в самом жестоком свете, так что Лера и Кристиан посмотрят на Фазиля испуганно и жалостливо. Потребуется от него, Бамби-

но, много чуткости, чтобы объяснить истинное положение, и это случится лишь потом. М. же поставит вопрос: правильно ли вообще происходит их работа, и не приближается ли она к опасному сектантству? Лола укажет ему на дверь. Тогда он громогласно объявит о том, что убежден в самом печальном, в чем не хотел бы убеждаться, и что в меру своих сил будет из глубокого морального чувства противодействовать их жестокой деятельности. Он будет искренен со своей стороны.

— Нельзя его допустить, моя Милая, — сказал он невесело.

«Вот и не допусти, — ответила Она и рассмеялась звонко, как молодая девушка. — Как думаешь, Небесную полицию мне по каждому пустяку вызывать?»

— Но что же, взять мне разводной ключ да встать на пороге? — воскликнул он отчаянно.

«Нет, миленький мой, — ответила Она грустно. — Никогда насилие не будет помощником. В детской беззащитности твоя сила».

— Добрый день, — поприветствовал Бамбино М. на пороге подъезда. Тот, сухо поздоровавшись, хотел проشمыгнуть мимо. Бамбино расставил руки, глядя на него испуганными молящими глазами. М. отступил на шаг, долго смотрел на него и в конце концов рассмеялся.

— Да что же ты, Валера, — сказал он со смехом, — не целый же ты век здесь будешь стоять. Сейчас кто-нибудь пойдет, вот и посторонишься, а я пройду. Ну пропускай меня, хватит комедию ломать.

Тогда Бамбино стал... Тогда он стал раздеваться, даром что стоял январь. Он снял дубленку и положил на пороге. Затем стянул свитер и положил сверху. Расшнуровал ботинки и вышел из них. Дальше расстегнул брюки и снял те. И принялся расстегивать рубашку.

М., отступив на шаг, смотрел на него со все большим страхом, а тут повернулся и быстро пошел, почти побежал прочь. Не было больше никакой возможности говорить с этим глубоко безумным человеком. Сердце обливалось кровью за этого несчастного.

Любите врагов ваших.

Бамбино шел рано утром, по снежку, переходящему в слякотный дождь, когда здоровенная овчарка выскочила на него из-за подворотни и, присев на задние лапы, хрипло лаяла на него, какой-то булькающий рев мешая с гавканьем. Ни одно животное никогда не реагировало на него так. Собака была, может быть, одержима, и с бесовской одержимостью животного страшно столкнуться.

— Ну, ну, — сказал он тихо.

Овчарка все лаяла, захлебываясь — он быстро шагнул и, опустившись на колени на мокрый асфальт, обнял ее. Она стала вырываться и хотела его укусить — он только крепче и нежнее сжал ее в руках.

Потихоньку она прекратила лаять и жалобно приникла к нему, заскулив. Бамбино обнимал ее, и гладил, и слезы текли у него по лицу.

Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их.

Это было 31 января. У «ЗИЛа» полетели колеса, и Валере отец предложил за умеренную плату поставить тому новые «обутки», то есть сменить по такому случаю резину. Ребята узнали об этом, и Лоле пришла мысль: поехать всем им на автобазу и помочь, чем они смогут.

Бамбино приветливо махнул им все тем же гаечным ключом. «Вы никак хотите помочь?» — спросил он.

Про некоторую работу говорят, что она «не женских рук дело» не из-за тяжести ее больше, а из-за нечуткости отношений между работниками, но самим девушкам Бамбино объяснил все так просто, деликатно и ласково, что и менять резину с ним было приятным занятием. Все перепачкались и хохотали; Бамбино повел их умываться к рабочему умывальнику. «Постойте же! — осенило его вдруг. — Вы ведь голодные все, бедняжки мои, разве нет? Ждите здесь меня!..»

Он отправился в магазин неподалеку, прихватив с собой Лолу. Он все смеялся легким беззаботным смехом по самым разным поводам — Бог мой, с какой радостью Лола, они все сегодня слушали его смех! Будто что-то мрачное отошло на иное время.

Вернулись и быстренько сообразили рабочий полдник.

— Садитесь же, ешьте, — сказал он.

Они сели тогда прямо на полу, как садились обычно, постелив газеты, Фазиль просто прилег — и полдничали. «Ешь шоколад! — кивнул Бамбино Кристиану с улыбкой. «Ведь вы же не едите...» — сказал тот смущенно. «Ну, конечно!» — и Бамбино сам взял дольку.

Удивительное любовное чувство наполняло всех в эту минуту.

— Хотелось бы мне знать, — лукаво начал Бамбино, словно думая спросить дальше: вправду ли вы меня любите?

Лера, угадав его мысль, просто положила ему голову на колени, будто говоря за всех — несказанная тихая нежность была в этом, и понял каждый, и все смотрели со слезною улыбкой. Тогда вдруг Бамбино взял чашу (на базе была замечательная чаша, наподобие славянской братины, из автомобильной фары, отлетевшей однажды), медленно и долго наполнил ее доверху и поставил. Затем взял оставшийся целый хлеб и преломил его.

— Возьмите сейчас от меня все, что во мне есть, — сказал он тихо, таким голосом, который бросает в жар. И роздал им хлеб, и чаша обошла круг.

«Девушка, девушка, — сказал он Лоле словами из русской сказки, — зачем плакать, вода и так соленая...» И еще он спросил — Лера пила последней, — он спросил тихо: «Ну как?» «Горькая», — отвечала она. «Да, — сказал он, — горькая наша вода, Лерочка, мой дружок».

Вот, приблизился час, и сын человеческий предается в руки грешников.

Четвертого февраля у Бамбино должен был быть день рождения — тем, двоим, тут стало стыдно, — и Лера отчаянно просила за них, хоть все прочие возмутились дружно, но она так огорчалась этой ссорой! — и Бамбино сказал: «Пусть приходят».

Его пчелы слетелись раньше назначенного времени, у них было еще несколько нежных и тихих минут побыть одним в его комнате.

Лера подарила ему свитер, белый и пушистый. «Из овечки», сказала она, смеясь. Он надел его, и всем вдруг захотелось почему-то, чтобы он стал похожим на барашка. Девушки озорно переглянулись, и Лола предложила его завить щипцами. Он рассмеялся, но затем, пораженный чем-то, согласился с каким-то испугом в глазах, и во время завивки сидел кроткий и сосредоточенный на томившей его мысли.

— На кого я похож, на девушку? — спросил он с оживлением у всех, после того как это закончилось. Все смеялись и хлопали парикмахерскому искусству Лолы.

— На ягненка, — сказала Лера.

— Нет, — возразил серьезно Фазиль. — В Новом Афоне есть такая фреска. Такие же волосы у того человека.

— Мне нужно быть красивым сегодня, Фазиль, — ответил ему Бамбино грустно и серьезно, — иначе Невеста не посмотрит на меня.

— Какая невеста? — спросили девушки в один голос.
И здесь раздался звонок в дверь.

— Дружочки мои, — проговорила Лера в прихожей просительно и тихонько, — вы не обижайте, пожалуйста, Валерочку. Хорошо? — и, задержав еще взгляд на каждом, пошла с надеждой. Приятели переглянулись.

— У нее глаза зомбированные, — сказал М. громко.

Оба веселились на этом дне рождения вовсю — все самое древнее, мстительное, ехидное, какое-то упоение безумием поднялось в них. «Давайте засунем Лолу в чайник!» — горланили они на два голоса, как двое из «Алисы в стране чудес»: церемониться с девушками ниже их уровня им не приходило в голову. Конечно же, они еще вволю потешались над его кудрями.

Не спешите осуждать скоро. С. просто не думал, а плыл по воле течения, задумываться он вообще не умел. А отчего М. решил вести себя так? Что же, и у него было искреннее и благородное соображение. Он думал, что подобное бесцеремонно-панибратское обращение с его старым другом заставит того немножко опомниться и заодно стряхнет большую долю пыла обожания с его одурманенных почитателей, позволит увидеть Валеру Арсеньева как живого человека и тем излечит их, пусть горьким лекарством, от дурмана сектантства. Разве это не великое дело? То, что он увлекся и шутки его не всегда держались в мере исключительно воспитательной иронии, — так что же, все мы человеки...

Фазиль написал записку на салфетке, руки его дрожали. Он предлагал их сейчас взять и выставить в шею или покидать из окошка, с чем желал справиться сам. Бамбино прочитал и грустно покачал головой.

— Нет, мой милый, — сказал он тихим голосом. — Если пить, то до конца пить горько. Сегодня моя свадьба.

И, посмотрев вдруг на Фазиля странным взглядом, он попросил у него ручку и написал несколько слов на салфетке.

— О-о, наш Валера пишет вирши! — воскликнули двое.

Бамбино спрятал записку в карман.

— Будет время, ты еще прочитаешь ее, — шепнул он Фазилю.

Шляпнику и Мартовскому зайцу пришло еще на ум устроить прогулку в память о тех славных днях, когда «Валерка пьяный так же шатался с друзьями и орал песни, во житуха-то была, Валерка!»

Очень странное это представляло собой зрелище! Они шли по улице, медленно и прямо, никуда не сворачивая, Бамбино впереди и двое по обе его руки, развлекая его, его друзья сзади, в двух парах, взявшись за руки, будто друг от друга желая согреться, не проронив за всю дорогу, как и он, ни звука. Наши два друга не унывали: их горлодеру хватало на всю компанию.

Они дошли до «Шоколадницы», и, вместо того чтобы, по предложению М., завалиться в бар, Бамбино пошел дальше, не раскрыв рта, увеличивая шаг. Приятели, также увеличив шаг, стали в отместку изощраяться в особенно циничных шутках, перебрасываемых через его голову. Они дошли до Волжского моста и стали подниматься по нему.

Где-то на середине моста Бамбино вдруг двинулся к парапету, шепнув своим друзьям: «Идите дальше». Двое оценили ситуацию и двинулись вперед, бойко дирижируя и распевая какой-то гимн, прочие нерешительно пошли за ними, потом, начав оглядываться, остановились и обернулись — он все стоял у парапета, ссутулившись и дрожа; в этот день было совсем не холодно, но его била крупная лошадиная дрожь.

М. и С. завопили было что-то хмельное, но их вдруг так гневно и дружно ошिकाки, что они примолкли и кисло переминались, с явным неудовольствием смотря на всю «эту комедию». Лера приблизилась к нему.

— Что с тобой, Валерочка? — спросила она. Фазиль пошел также к ним.

И, когда он подошел, Бамбино совершенно овладел собой: великолепная ясность и светлое спокойствие его вернулись. Какая-то решимость и отрешенность появилась в нем, и запах ландыша, пропавший последний месяц, почувствовался снова, и сильнее обычного.

— И д е м! — сказал он Фазилю, — нас и без того заждались гости. Вот уже и за мной...

«Нива» алого цвета с хищным светом фар гуднула, тормозя напротив них, сидящие в машине, пригнувшись, тщательно всматривались в тех, кто ушел вперед. Бамбино обернулся. Машина бросилась с места и снова резко затормозила, визжа тормозами, обдирая краску с бока о мощное ограждение. Трое скотов с бычьими шеями проворно вылезли с левой стороны, хлопая дверцами так, что звенел корпус.

— Эй ты, — заорали они Лоле, указывая все трое на нее пальцем, — пойдешь с нами, б... рогатая! Мы тебя знаем!.. — И в грязных выражениях распространились о том, что однажды она им отказала и что долги надо отдавать.

Один из них, самый скорый, уже бросился к Лоле и поволок ее за руку в машину — Фазиль выхватил нож, и тот отпрянул. Парни застыли на миг и затем, медленно двигаясь, как перед хищным зверем, выволокли из машины длинные биты. Так они стояли, Фазиль и трое, друг напротив друга. Цементирующий ужас охватил всех остальных, и девушка сама, застыв, начала приметно дрожать.

Бамбино подошел к ней сзади. Сняв свою дубленку, он накинул ее Лоле на плечи. Сам остался в одном свитере.

— Ты согрейся немножко, а мне уже не нужна, — прошептал он нежно. И затем, выйдя немного вперед, сказал отчетливо и ясно: — Я могу поехать с вами вместо нее, друзья мои. Это я увожу их от вас, так что это мой долг.

Трое переглянулись, медленно соображая, и вдруг разразились вусмерть довольными визгами, стонами и хрюканьями — как их это позабавило, Бог мой! «Ну иди же ко мне, рыбка, мальчиков у меня еще не было...» — прокудахтал самый свинистый, просто расплываясь по стеклу животиком от счастья. «Симпатичный!..» — выдавил из себя со смехом другой. Они, должно быть, приняли его за голубого. Затем они затихли, облокотясь на крышку и замерев с ожиданием. Тишина безумная настала.

Боже мой, пришло в этот момент в голову Лере: так вот какая невеста должна была посмотреть на него сегодня!..

Фазиль произнес гортанное низкое страшное долгое обещание мести — даже тем троим стало, вероятно, страшно.

— Запрещаю тебе навсегда мстить, Фазиль, — сказал Бамбино спокойно. — Без любви бывает только грязь. Месть — без любви. Забудь номер этой машины, и все остальные, забудьте его.

И, ступив на бордюр, отделявший проезжую часть от тротуара, он скрестил на груди пальцы рук и на один миг закрыл глаза, потом, открыв, на секунду обратил их к небу. Трое зароптали и распространились вновь о «рогатой б***». М. отвернулся.

— Обещаю тебе, — шепнул он Лоле быстро и с великой нежностью, — что бы ни случилось, мы еще успеем увидеться, я тебе обещаю. Только не засни в мой приход, и до встречи со мной не трогай никакой пищи.

Он перешагнул через бордюр, сделал шаг и вдруг, обернувшись, воскликнул:

— Кристиан!

И, стоя в свете фар, глядя Кристиану в глаза, он произнес звонко и отчетливо:

— *TRIBUTUM CAESARI RESIGNAVI*⁴.

Долгий гудок поезда издалека подвел черту под его словами. Он обошел машину и потянул на себя ручку, «Нива» хлопнула дверцами и отчалила.

...Всю ночь она бежала по этому незнакомому, холодному району, ей казалось, что вдруг вот они здесь, за поворотом, или нет, еще там, что чутье ее приведет — какая же она после этого ученица! Пятиэтажки вдруг обступили ее, она пробовала возвращаться, кружить — они встали вокруг стеной, темные, неродственные, Лола опустилась на землю и заплакала горько. И на холодной земле она пролежала до утра.

Сей ученик и свидетельствует о сем и написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его.

В хронике происшествий поместили короткую заметку. Тело Бамбино нашли в за-волжском лесу. Он умер, не убитый, и не от издевательств: следов надругательства на теле не было. Он умер просто от потери крови, оставленный там и успевший полностью истечь кровью за несколько часов.

Кровь истекла из ран на голове, причиненных шипами его венца, которые глубоко впились в кожу, вероятно, от тяжелого веса тех парней. Мне представляется, что он в конце концов просто потерял сознание от боли, и кровопотеря, произошедшая за это время, ослабила его настолько, что он уже не смог, придя в себя, пошевелиться.

В кармане Бамбино нашли записку, ту, написанную на салфетке: «Это случилось по моему согласию. Прошу никого не винить в моей смерти».

Кристиан заперся наглухо в своей комнате (у него была своя комната, где можно было запереться — счастливец!).

Фазиля видели в мечети.

Никто из известных нам лиц не присутствовал на гражданской церемонии — излишне больно это было бы для сердца. Бог мой, зато чуть ли не весь его первый курс пришел тем талым февральским днем на кладбище!

Лена пришла к Лере, и та все ей простила, и приняла со светлой лаской, и сушила ее слезы чуткими руками. Только лишь когда та ушла, вся ее изумительная ангельская несокрушимость осыпалась, и Лера плакала на кухне, прижавшись щекой к холодной трубе отопления, как маленькая девочка — ее-то никто не мог утешить...

Все так же звенели стыло трамваи, и неуютный ветер гулял. До конца февраля он висел и был, наконец, сорван ветром, но из людей его никто не тронул — тот листочек, приклеенный за обрывки клейкой ленты, на стойке для афиш: *Мыслете, Рцы, Фита, Ижица. Милая, будь благословенна.*

Эпилог

Лола брела по улице, не видя ничего перед собой. Слишком много было заплачено за одну потаскушку. Слезки вновь тихо текли, и из носа текло тоже. Она не спала уже двое суток, и ей ужасно хотелось спать, но она не могла теперь спать. Она не будет спать в течение всей жизни. Или она умрет скоро от голода. Как скоро, интересно?

⁴ Долг цезарю заплачен (лат.).

Утром она оказалась у монастыря, превращенного в музей. Немецкие туристы шли мимо и расступались перед ней, держась подальше. Ну да, слишком она обтрепалась.

Она вбрела с толпой на территорию музея, опустилась на скамейку близ колокольни, и накопленное вновь вырвалось горячими рыданиями.

— Девушка!.. — окликнули ее. Лола сжалась. Впрочем, голос был ласковый.

— Девушка, девушка, зачем плакать — и так мокрая скамейка...

Она подняла голову и увидела Бамбино, стоявшего на ступеньках лестницы колокольни: высокие ступеньки, до второго этажа, а потом еще внутри винтовая лесенка. Туристы шли мимо и не замечали его.

Она БРОСИЛАСЬ К НЕМУ, ЗАБЫВ ВСЕ НА СВЕТЕ, НЕ ОБРАЩАЯ ВНИМАНИЯ НА ОКРИК БИЛЕТЕРШИ.

— Стой! — воскликнул он. — Поди спустишься вниз и купи билет.

Лола спустилась и купила билет. Горячие радостные слезы текли у нее так, что она переставала временами видеть.

— Ты истончилась своим постом и бессонницей, моя прекрасная, спасибо Тебе за верность, — сказал ей Бамбино, когда она приблизилась к нему. — Теперь ступай вперед меня, шагов моих не услышишь. Не оборачивайся.

На самом верху звонницы он передал ей четыре почтовых конверта — они будто не сразу обрели плотность в ее руках.

— Здесь написано каждому из вас о вашем деле, — произнес он. — Тебе же скажу еще и так. Ты — смотри. Тьма и огоньки, — он обвел широкий город рукой. — Это Россия за окном. Светлячки будут прибывать; светлячок очень легко задуть, помни, моя милая. Вот теперь твоя роль, самая скромная и важная: ты будешь соединительницей огоньков. Всегда веселой и светлой. Всегда дерзкой, и бойкой, и неутомимой. Всегда стоящей в стороне — но если светлячок зазнается, облей его из стакана холодной водой. Самое главное, соедини искусно и мудро — ты знаешь уже много больше их, девушка моя, хоть не стоит этого показывать. Теперь я спешу; у меня нет минуты свободной. Через несколько десятков лет мы снова увидимся, а пока прощай. — Он начинал светиться.

— Дай мне обнять тебя напоследок, Солнышко мое горячее! — воскликнула Лола.

— Девять секунд, — сказал Бамбино. — Больше не выдержишь. Пока колокол бьет. Звонарь уже изготовился...

И в этот миг грозно, могуче, победно ударил колокол, как будто повторяя первый слог его имени, и она приникла к нему, обжигаясь, и как вам рассказать, что за счастье она испытала!

Когда отзвенели главные тяжелые удары и маленькие колокола залились радостными, животворными, рассветными переливами, он... не смейтесь! как будто было так, что Бамбино раскрыл крылья и исчез, взвился, тремя легкими ударами крыл.

Каждый получит разные крылья. Аскетические праведники могут иметь, к примеру, холодно-голубые, и жгуче-синие — исполнившие свое сердце в могучей верой; светло-зеленые — живые, и радостные, и простые натуры; мудрецы — золотисто-желтые; Воины и Пророки носят на крылах изумруд и рубин: цвета мужества и стойкости. Ангелы высших небес, простые и невинные, как дети, получают белые крылья.

Красный есть вообще цвет жгучей жизненности, вызывающе-упоенный, даже дьявольский. Но то — грязный, чувственный красный. Меж тем самого Спасителя одели в багряницу, и многое перетерпевшим позволено иногда иметь на крыле, как знак о том, багровый краешек.

У Бамбино были белые крылья с ярко-красными кончиками.